

ИОГАННЕС ФОН ГЮНТЕР И ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯ»

Статья, публикация, примечания
и перевод К. М. Азадовского

«Я очень люблю молодую русскую поэзию и хочу создать ей имя. В этом я вижу цель моей жизни. Я хочу, чтобы она заняла то место в мировой литературе, которое отведено лишь немногим — ведь она этого вполне заслуживает!»

Так писал в начале 1905 г. Иоганнес фон Гюнтер в Москву В. Я. Брюсову¹. Молодому поэту было тогда восемнадцать лет. Он родился и вырос в небольшом городке Митава Курляндской губернии (ныне г. Елгава, Латвия). Отец его был начальником местной тюрьмы. Весной 1904 г. Гюнтер заканчивает реальную гимназию. Уже тогда в нем просыпается интерес к русской литературе. Из антологии «Русская муза», случайно попавшей в его руки², Гюнтер переводит понравившееся ему стихотворение Лермонтова «И скучно, и грустно...». Это был первый в его жизни перевод с русского языка; за ним следуют другие литературные опыты. К этому же времени относится и его знакомство с «молодой русской поэзией», о чем — спустя много лет — он подробно рассказал в своих воспоминаниях:

«Летом 1904 г. (...) я поехал в Ригу на выставку замечательного латвийского художника Пурвита. Среди журналов, с которыми обычно можно познакомиться на таких выставках, были отдельные выпуски „Kunst und Künstler“, „Studio“, а также русского ежемесячника „Весы“ — я сразу же обратил внимание на то, с каким вкусом этот журнал оформлен. В нем печатались статьи, стихи и рецензии, и все это было украшено современной графикой. Мне запомнилось также и название издательства — „Скорпион“. Я записал адрес.

Уже из Дрездена я обратился в издательство, упомянул о моем желании ближе познакомиться с новой русской поэзией и просил прислать мне несколько выпусков журнала „Весы“. Я назвал себя молодым немецким поэтом, занимающимся переводами с русского.

Разумеется, я написал по-немецки³. И вскоре пришел ответ: несколько больших пакетов с книгами и любезное письмо от издателя „Весов“, поэта Валерия Брюсова, сообщившего мне, что отныне я буду регулярно получать журнал⁴.

В изумлении я распечатал посылку; в ней были стихотворные сборники Константина Бальмонта, один сборник самого Брюсова — „Urbi et orbi“⁵, томики стихов Ивана Коневского и Андрея Белого, Федора Сологуба, Иванова, Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Три альманаха, изданные „Скорпионом“ под названием „Северные цветы“; они были переплетены в один том. И восемь или девять номеров журнала „Весы“.

Думаю, что Робинзон Крузо не так радовался своему ящику, как я этим пакетам с книгами.

Все имена были мне неизвестны. Мне стоило немалого труда вчитаться в эти стихотворения — ведь они имели мало общего с классическими и классицистическими стихами из толстой антологии, коими я до этого увлекался⁶. И все же необъяснимое очарование исходило от них.

Глубокое впечатление произвели на меня любовные стихотворения Бальмонта, кое-где переходящие в откровенную эротику, и риторически торжественные строки Брюсова. Мне пришлось по вкусу и подчас аллегорически окрашенное вагнерианство ранних стихов Белого, а также меланхолическая лирика литовского поэта Юргиса Балтрушайтиса. А в третьем альманахе я впервые прочитал стихи Александра Блока⁷.

Присланные мне книги частично сохранились у меня. С волнением снимаю я каждый раз с полки ту или другую из них. Какие горизонты открылись передо мною благодаря им! <...>

Неужели это была судьба?

А что если бы я тогда не поехал в Ригу? Не взял бы в руки журнал „Весы“? Не записал бы тогда — вопреки моему обыкновению — адрес московского издательства и не сочинил бы от скуки письмо? Как сложилась бы тогда моя жизнь?»⁸

Вопрос не праздный: письма, отправленные Понтером Брюсову и в издательство «Скорпион», действительно, определили его дальнейшую судьбу. Он стал страстным приверженцем русской литературы (не только «молодой», но и классической), одним из наиболее деятельных ее переводчиков и пропагандистов в Германии, где он окончательно поселился в 1914 г. За свою долгую жизнь Понтер перевел на немецкий язык множество стихов, рассказов, повестей и романов русских писателей. Он переводил Пушкина и Лермонтова, Грибоедова и В. Ф. Одоевского, Толстого и Достоевского, Тургенева и Гончарова, Островского и Лескова, Чехова и Горького, Маяковского и Пастернака. Он познакомил немецких читателей и с творчеством русских символистов — Андрея Белого, Анненского, Бальмонта, Блока, Брюсова, В. Иванова, Сологуба и других. Некоторые из них впервые зазвучали по-немецки именно в переводе Понтера. Количество переводов с русского, осуществленных Понтером за многие годы, могло бы составить целую библиотеку⁹.

Заслуживает упоминания также издательская деятельность Понтера. Он выпустил в свет в общей сложности несколько десятков антологий и сборников русских поэтов; вместе с другим известным переводчиком — Александром Элиасбергом Понтер осуществлял в 1922—1924 гг. издание десяти томной «Русской библиотеки». В 1919 г. Понтер организовал в Мюнхене издательство «Музарион», широко печатавшее русских авторов (Достоевского, Лескова, Сологуба, Кузмина и др.). В те годы (1919—1921), живя в Мюнхене, Понтер был знаком и не раз встречался с Томасом Манном, который, как известно, с особенным уважением и интересом относился к «святой русской литературе».

Россия занимает в жизни Понтера основное место. Однако его литературное наследие не исчерпывается переводами с русского языка. Понтер был и оригинальным поэтом. Он издал несколько поэтических сборников; первый из них, озаглавленный «Тень и ясность», был издан в Митаве в 1905 г. Он писал также драмы, оперетты (частично — на русские темы) и исторические романы («Калиостро», «Распутин») ¹⁰.

Глубоко захваченный стихами русских поэтов, Понтер почти весь 1905 год посвятил переводческой деятельности, предполагая издать в Германии антологию современной русской поэзии. 15 января 1905 г. Понтер рассказывает Брюсову, что эта книга будет состоять из 125 переведенных им стихотворений русских авторов: «по 12 стихотворений Бальмонта и Брюсова; по 8 стихотворений Балтрушайтиса, Белого, Бунина, Лохвицкой, Сологуба; по 5 стихотворений Блока, Фофанова, Галиной, Иванова, Мережковского и т. д.»¹¹ Спустя полгода в письме Понтера к Ф. К. Сологубу от 4 августа 1905 г. этот список уточняется: исчезают имена Лохвицкой и Галиной, добавляются — Минского и З. Н. Гиппиус. «В целом получится 75 стихотворений 12-ти авторов», — сообщает ему Понтер¹². Однако издать антологию в 1905 г. Понтеру не удалось. Реализация этого замысла растянулась у него на шесть лет. Лишь в 1911 г. в Берлине была выпущена антология «Современный



Alexander
BLOCK
Schneegezicht
1a

Verlag Volk und Welt
Berlin

БЛОК. СНЕЖНАЯ МАСКА

Берлин, 1970

Титульный лист и фронтиспис с иллюстрацией В. Н. Масютина

русский Парнас», в которую вошли стихотворения одиннадцати русских поэтов (Андрей Белый, Бальмонт, Блок, Брюсов, Вилькина, З. Гиппиус, В. Иванов, Кузмин, С. Маковский, Минский, Сологуб). Со всеми этими поэтами Понтер к 1911 г. был знаком лично, а с некоторыми из них поддерживал тесные отношения.

Тогда же, летом 1905 г., Понтер принимается и за перевод русской символистской прозы. Его первые опыты на этом поприще — драматический фрагмент («мистерия») Андрея Белого «Пришедший» (1903) и рассказ Ф. Сологуба «Утешение» (1903). Обращаясь к Сологубу, Понтер пишет 4 августа 1905 г.: «Я перевел этот рассказ, желая показать, что в России есть не только *Чириковы*, *Юшкевичи* и *Скитальцы*, но и воистину крупные писатели»¹³.

В процессе своей переводческой работы Понтер вступает в переписку с Брюсовым, Андреем Белым, Сологубом, Блоком и др. У всех них Понтер просил разрешения (авторизацию) на перевод их произведений, краткую автобиографию и портрет. Видно, что намерения молодого немецкого переводчика были весьма целенаправленными. Одновременно росло желание Понтера посетить Петербург и Москву и лично познакомиться с каждым из тех поэтов, которых он с неослабеющим интересом переводил на немецкий. В марте 1906 г. Понтер приезжает в Петербург.

Тепло и доброжелательно встретили Понтера в российской столице. Восторженный юноша, влюбленный в русскую литературу, с пафосом читавший собственные стихи и стихи боготворимого им Стефана Георге, пришелся по душе и Блоку, и Иванову, и Кузмину, и Ремизову. Все они ощущали глубокое внутреннее родство с юным немецким поэтом, столь бескорыстно преданным «новому искусству». Им нравились, видимо, и стихи Понтера, выдержанные в духе немецкого неоромантизма, не лишенные музыкальности и известного мастерства. Кроме того, Понтер весьма искусно переводил их произведения на

немецкий язык. Не случайно многие из поэтов, с которыми встречался в России Понтер, посвящали ему стихи: Блок, Андрей Белый, Городецкий, Иванов, Кузмин, позднее Балтрушайтис. Из воспоминаний Понтера видно, что уже в 1906—1908 гг. он близко соприкасался с кругом Вячеслава Иванова. Идейный вождь «младшего» русского символизма благоволил к Понтеру. Получив от него в подарок сборник «Тень и ясность», Иванов поместил в журнале «Весы» короткий отзыв: «В этой тетрадке стихов мы видим следы хорошей школы, и в начинающем поэте обещает раскрыться лирическая сила»¹⁴. Летом 1908 г., когда Понтер в течение нескольких недель жил «на башне», Иванов написал ему несколько стихотворений, составивших цикл «Подарки гостю» и включенных затем в сборник «Сог ardens»¹⁵. Тогда же началась и дружба с «аббатом» — М. А. Кузминым. Понтеру посвящен раздел «Всадник» в стихотворном сборнике Кузмина «Осенние озера» (М., 1912). Кроме того, Кузмин перевел на русский язык пьесу Понтера «Очаровательная змея». Контакты Понтера с петербургскими литераторами еще более расширились в 1909—1910 гг. Он встречается с известными художниками, артистами, режиссерами, причем большинство его новых знакомств уже не принадлежат к тому символистскому кругу, которым Понтер ограничивал себя в 1904—1906 гг. Понтер сходитсся с Хлебниковым, и тот восторженно пишет из Петербурга своей матери: «Понтер — надежда немецкой литературы»¹⁶. А через неделю — своему брату: «Я познакомился с Понтером, которого я полубил...»¹⁷. Однако более тесно сближается Понтер с акмеистами (прежде всего с Гумилевым) и редакцией журнала «Аполлон». Благодаря Гумилеву и С. К. Маковскому он становится одним из сотрудников этого журнала, ведая в нем материалами, связанными с немецкой литературой. Помимо небольших статей и рецензий, Понтер опубликовал в «Аполлоне» обширное эссе о Стефане Георге¹⁸.

О Стефане Георге Понтер рассказывал в России так часто и с таким увлечением, что многие запомнили его прежде всего как адепта этого германского поэта. А. М. Ремизов, например, утверждал позднее, что «Понтер появился в Петербурге для того, чтобы <...> прозвучало по-русски и вошло в русскую словесную культуру рядом с французскими именами: Бодлер, Рембо, Малларме — немецкое имя: Стефан Георге»¹⁹. Ремизов даже создавал легенду, будто Понтер пытался выдавать себя за самого «мэтра». «И не было литературного вечера или собрания с писателями, где бы не выступал Понтер: и как он выходит читать и как читает, все в нем видели самого Стефана Георге. Такое впечатление осталось у всех на Таврической „башне“ у Вячеслава Иванова с первых стихов, прочитанных Понтером, и распространилось по Петербургу. И уж на Васильевском Острове в училище Ф. К. Сологуба и без моего подсказа выступил как Стефан Георге»²⁰. (В своих воспоминаниях Понтер опровергает это свидетельство русского писателя; оно, видимо, и в самом деле принадлежит к числу тех розыгрышей и мистификаций, которыми славился Ремизов.)

Особую страницу в биографии Понтера образуют его взаимоотношения с Блоком. Их переписка завязалась осенью 1905 г. Но уже до этого имя Блока упоминается в письмах Понтера к Брюсову, Андрею Белому, Сологубу и др. 21 июля в письме к Белому Понтер пишет: «Я перевел также 5-6 стихотворений Вашего друга (думаю, что я имею право назвать его так) — Блока. Он любезно прислал мне книгу своих стихотворений»²¹. Понтер ошибался: книга была послана ему издательством «Гриф», и к ее отправке Блок не имел ни малейшего отношения. Это подтверждается первым письмом Понтера к Блоку (от 5 сентября 1905 г.): «Уважаемый господин Блок, приблизительно два месяца тому назад я получил от книгоиздательства „Гриф“ Ваши „Стихи о Прекрасной Даме“. Разрешите поблагодарить Вас за эту замечательную книгу».

В этом же письме, 21 июля, Понтер просил Андрея Белого обратиться к таким поэтам, как Бальмонт, Брюсов, Бунин, Блок, Балтрушайтис, Лохвицкая, Иванов, Сологуб, Минский, Мережковский, Фофанов и др. От этих писателей Понтер надеялся получить при посредничестве Андрея Белого их

«произведения и биографии»²². В начале сентября (?) 1905 г. Белый сообщает Блоку: «Есть к тебе поручение. Прости, что не писал, все собирался. Hans v. Guenther просит Тебя сообщить ему Твои биографические сведения. Ты, кажется, имеешь с ним сношения. Он мне писал, что перевел некоторые из Твоих стихов. Живет он попеременно то в Мюнхене, то в Митаве. Теперь, кажется, в Митаве. (...) То же поручение у меня к Бальмонту, Иванову, Сологубу, Минскому, Мережковскому, Рафаловичу, Смирнову. При случае, если увидишь кого-нибудь из оных господ, передай им про Понтера и его просьбу»²³.

«Я совсем никогда не слышал о Понтере и очень изумляюсь своей биографией», — ответил на это Блок 9 сентября 1905 г.²⁴ Первое письмо Понтера от 5 сентября еще не было им в тот день получено: отправленное через издательство «Гриф»²⁵, оно достигло Блока несколькими днями позднее. К письму были приложены стихи. Пересылая их Андрею Белому, Блок пишет 22 сентября: «Я уже написал (Понтеру), что мне многое нравится. (...) Понтер переводит мои стихи. Просьбу о биографии я уже передавал Бальмонту...»²⁶.

На это следует раздраженный ответ Андрея Белого: «Понтер — идиот, в этом я убедился из нескольких писем, которыми мы обменялись. Не имею время разбирать его стихи. Если будешь ему писать, напиши что знаешь от моего имени ему. Надоело с ним иметь дело. Он переводит меня и из этого делает что-то неимоверное. Чуть ли не переход на „Ты“...»²⁷.

«Совсем не знаю, что написать от Тебя Понтеру? — откликается Блок 2 октября. — Очень возможно, что он идиот. Он пишет мне все открытки, где говорится: сегодня я перевел 26-е стих(отворение)... Сегодня 40-е. Нельзя ли назвать все „Die Frau in Sonne bekleidet“? * Эти извещения и вопросы сыплются мелким дождиком из Митавы — с Балтийского побережья — культурно и неукооснительно»²⁸.

Впрочем, «извещения и вопросы» сыпались не только с Балтийского побережья — из Петербурга в Митаву шли ответные письма. Блок явно не разделял скептического взгляда на Понтера, высказанного Андреем Белым, и вел с ним в те осенние месяцы 1905 г. оживленную переписку. 17 ноября Понтер благодарит Блока за «восхитительное» письмо, доставившее ему «большую радость» (см. наст. кн., с. 293). Насколько можно судить по этому ответному письму, Блок писал Понтеру о Владимире Соловьеве, о «Жене, одетой в Солнце» — образ, вокруг которого, по мнению Блока, может возникнуть «религия будущего». О собственном творчестве Блок, видимо, отозвался сдержанно, чем вызвал недоуменное восклицание Понтера: почему у Блока столь невысокое мнение о собственных стихах?

Искреннее и глубокое восхищение поэзией Блока, какое проявил Понтер, едва познакомившись со «Стихами о Прекрасной Даме», весьма примечательно. Он был, в сущности, первым из западных литераторов, обратившим внимание на «младших» символистов, и, кроме того, первым их переводчиком. Самостоятельно «открыв» Блока, Понтер обнаружил, бесспорно, и подлинный вкус, и тонкое литературное чутье. Более того, он выступал как пропагандист и приверженец поэзии Блока не только в Германии, но и в кругу русских символистов, где значение его творчества понимали в 1906—1908 гг. далеко не все. Уже в апреле 1906 г. Понтер вступает в спор по поводу Блока с Андреем Белым, С. Соловьевым и другими москвичами. В своей книжке, посвященной Блоку, Понтер вспоминает, как в 1906 г. «на башне» В. И. Иванова он предсказал то, о чем впоследствии ему не раз напоминали друзья. «Я сказал: молодой Александр Блок будет самым значительным поэтом в кругу других гениальностей молодого русского Парнаса, переживающего свой расцвет; Блок и сейчас — значительней всех». Произнести такие слова, вспоминает Понтер, было в ту пору весьма рискованно. «Еще и сегодня я вижу лица двух

* «Жена, одетая в Солнце» (нем.).

самых известных философов тогдашней России, вытянувшиеся в презрительной усмешке, когда я, иностранец, молодой немец, осмелился высказать это дерзкое и, казалось, ни на чем не основанное суждение»²⁹.

Понтеру прихотилось «защищать» Блока и от нападков со стороны будущих акмеистов. «Хорошо помню одно из первых заседаний „Академии“, — рассказывает Понтер, имея в виду „Общество ревнителей художественного слова“, учрежденное при журнале „Аполлон“, — на котором Блок прочитал свои итальянские стихи. Их суровая медь, их формальное совершенство увлекли меня. Да, то была поэзия, какой в России не слышали со времени Пушкина. Но когда я выразил это мнение, в узком кругу моих друзей начались возражения. Они — прежде всего Кузмин и Гумилев — стали нападать на Блока, причем не столько на автора итальянских стихов, сколько на Блока в целом»³⁰.

А как относился к Понтеру Блок?

Переписка, предшествовавшая их встрече, укрепила в Блоке уверенность, что в лице Понтера он имеет дело со своим единомышленником, поэтом, причастным к «тайне» символизма. В этом убеждали Блока отзывы Понтера о его стихах, заверения немецкого поэта о том, что он любит их больше, чем стихи Брюсова или Лермонтова, что Блок для него, наряду с Брюсовым и Андреем Белым, — представитель нового, удивительно глубокого теургического культа и т. п. Блок чувствовал себя польщенным этими признаниями. Но особую симпатию Блока удалось завоевать Понтеру в марте 1906 г. в Петербурге. «Он — очень хороший», — пишет Блок о Понтере 4 апреля 1906 г. Андрею Белому³¹. Подлинным проявлением того искреннего чувства, которым проникся Блок по отношению к Понтеру, было его стихотворение, обращенное к немецкому поэту. Оно имеет дату: 19 марта 1906 года, и его следует понимать как продолжение и развитие тех бесед, которые оба поэта вели за несколько дней до этого — при первой встрече.

Ты был осыпан звездным цветом
Ее торжественной весны,
И были пышно над поэтом
Восторг и горе сплетены.

Открылось небо над тобою,
Ты слушал пламенный хорал,
День белый с ночью голубую
Зарею алой сочелал.

Но в мирной безраздумной сини
Очарованье доцвело,
И вот — осталась нежность линий
И в нимбе пепельном чело.

Склонясь на цвет полуувядший,
Стремиться не устанешь ты,
Но заглядишься, ангел падший,
В двойные, нежные черты.

И, может быть, в бреду ползучем,
Межу не в силах обойти,
Ты увенчаешься колючим
Венцом запретного пути.

Так, — не забудь в венце из терний,
Кому молился в первый раз,
Когда обманет свет вечерний
Расширенных и светлых глаз.

(II, 100)

Смысл этих строк открывается не сразу. Стихотворение написано условным «символическим» языком молодого Блока; многое в нем зашифровано, доступно лишь «посвященным». Однако ясно: речь идет о том, что глубоко волновало тогда поэта. Мотив «падшего ангела» — не случайный в поэзии Блока. Поэт не раз писал о тех, кому «назначен темный жребий», о душе, утратившей изначальную чистоту, о «забывших» Ее. Все эти стихи Блока носят, разумеется, личный характер. Поэт часто признавался и каялся в собственном «паденье», «забытье», «беспамятстве», упрекал себя в «декадентстве». Многие люди, знавшие Блока, отмечали в его облике черты «демонического», элемент трагизма. Из воспоминаний Понтера явствует, что, беседуя с ним, Блок постоянно возвращался к теме «люциферова начала». Любопытно, что Понтер, которого Блок в своем стихотворении называет «падшим ангелом», пользуется этим же определением в отношении русского поэта. «По нему (т. е. Блоку) было видно, что несмотря на свою все возрастающую

известность, он оставался безгранично одиноким: его чело окружал пурпурно-пепельный нимб люциферовой печали. Широкоплечий, в черной блузе с белым отложным воротничком, он сердито и безмолвно сидел за столом, и казалось, что он — воистину один из сонма тех падших ангелов, легионы которых некогда потяряли трон Господа»³². Создается впечатление, что Понтер, описывая Блока, перефразирует отдельные строчки из посвященному ему стихотворения («И в нимбе пепельном чело» и др.).

Можно предположить, что Блок не только отнесся к Понтеру доверительно и по-дружески, но и — в первое время — увидел в нем своего двойника. Посвящая Понтеру стихотворение, Блок как бы превращает его в своего «лирического героя». Это же чувство духовного родства ощущается и в дарственной надписи, которую сделал Блок 22 апреля 1906 г. на принадлежащем Понтеру экземпляре «Стихов о Прекрасной Даме»³³.

В декабре 1906 г. Понтер вновь приезжает в Петербург. «У нас два дня жил Понтер и ночевал, только сию минуту уехал», — рассказывает Блок матери³⁴. Вдохновленный дружбой с русскими поэтами, Понтер продолжает переводить их (в том числе и Блока) на немецкий язык. «Хочу Вас и Блока издать в Германии», — пишет он 24 января 1907 г. Ф. К. Сологубу³⁵. Свое намерение Понтеру отчасти удается исполнить в конце 1907 г.: в Лейпциге выходит в свет антология «Новейшая зарубежная лирика», где русский отдел представляли (в переводе Понтера) двенадцать поэтов: от Пушкина до Блока³⁶. Из других символистов Понтер включил в антологию Бальмонта, Брюсова, Мережковского, Минского и Сологуба. Бросается в глаза отсутствие в этой книге Андрея Белого (из воспоминаний Понтера явствует, как непросто складывались их отношения) и В. И. Иванова (с ним Понтер тесно сближается в 1908—1909 гг.). Три ранних стихотворения Блока, опубликованных Понтером в 1907 г., — первая публикация его произведений на немецком языке (и вообще за пределами России).

Близкие отношения, завязавшиеся между Блоком и Понтером в 1905—1906 гг., не оказались устойчивыми. Довольно скоро их духовный союз распадается. Правда, еще весной 1908 г. они обмениваются подарками: 4 мая в Петербурге Блок надписывает Понтеру свои «Лирические драмы», а Понтер — антологию «Новейшая зарубежная лирика». Но в 1908—1909 гг. расхождение между ними становится очевидным³⁷. Блок начинает сторониться Понтера и, видимо, избегает близкого общения с ним, несмотря на то что немецкий поэт, со своей стороны, по-прежнему уверяет Блока в своей любви к нему (см., например, его письмо к Блоку от 4 марта 1909 г. — наст. кн., с. 303). Впоследствии его отчужденность от Понтера переросла в неприязнь. Известна запись в дневнике Блока от 10 ноября 1911 г.: «Вчера <...> вечером <...> приходит Ганс Понтер с похвалами „Ночным часам“, со своими какими-то нерусскими понятиями. Несколько слов, выражений лица — и меня начинает бить злорадия. Большого ужаса, чем в этом лице, я, кажется, не видал» (VII, 84). Чем объяснить эту антипатию Блока к поэту, которому пять лет назад он посвятил проникновенные стихи? Почему он не хотел его более видеть и принимать? Скорее всего, потому, что «декадентские» черты Понтера, некогда столь привлекавшие Блока, стали ему к 1911 г. неприятны и отталкивали его. После 1907 г. Блок настойчиво боролся с теми качествами в себе самом, которые казались ему «декадентскими». Эволюция Блока в этом плане была, как известно, очень глубокой: поэт все искренней тянулся к России, к народу и «народной душе», к «общественности» и демократическому искусству. Понтер же, как и ранее, оставался приверженцем Георга и «эзотерической» поэзии, тяготел к петербургской артистической богеме, посещал в 1912—1913 гг. «Бродячую собаку» — все это было Блоку совершенно чуждо. Ценил Блок исключительно как поэта, Понтер недопонимал его новых устремлений, не желал, например, признавать его публицистику. «Блок, к сожалению, все более вживался в роль прорицателя истины, каковым он на самом деле не был», — замечает Понтер в книге своих воспоминаний³⁸. Будучи в значительной мере

«снобом», Понтер сторонился проблем, волновавших русское общество, продолжал жить лишь «одним искусством», и это, видимо, раздражало Блока и отдаляло его от Понтера с его «нерусскими понятиями». Позднее Понтер объяснял поведение Блока тем, что он, Понтер, все более сходил к тому с кругом «Аполлона». «Мы были с ним в разных лагерях,— утверждал Понтер.— Именно по этой причине между нами уже не возникало душевных бесед»³⁹. Думается, что дело не только в этом. Блок «в ужасе» отворачивался от Понтера, ибо видел в нем самого себя, «эстета» и «декадента», каким он был (как ему представлялось) еще в 1905—1906 гг.

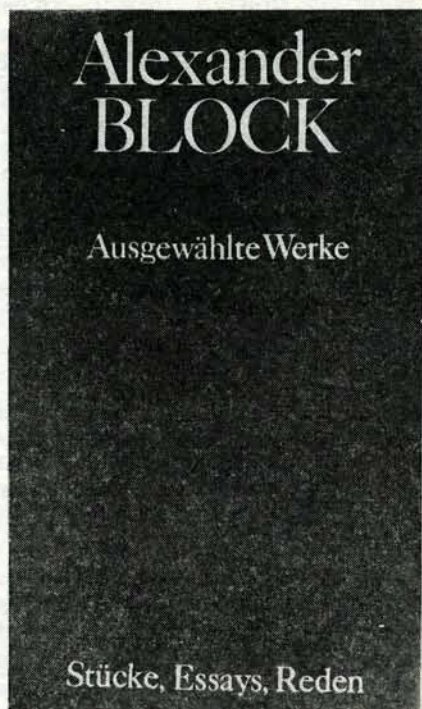
Понтер болезненно переживал охлаждение к нему со стороны Блока. Влюбленность в Блока, которой дышат ранние письма Понтера к русскому поэту, сохраняется и в более поздние годы. «Милый Блок,— пишет ему Понтер 24 мая 1911 г. из Митавы,— Вы знаете, я давно уже ушел от Вас— и я никогда не уйду от Вас <...> Я Вас где-то совсем глубоко очень, очень люблю и люблю не только человека, а именно Художника» (см. наст. кн., с. 304).

Отношения, однако, не прерываются: и в 1911, и в 1912 гг. Блок и Понтер продолжают общаться⁴⁰. Все более увлекаясь театром, Понтер строит в ту пору разнообразные планы на будущее. Собираясь навсегда оставить родную Митаву, он колеблется в выборе между Берлином и Петербургом. «Я убежден, что не позже, чем через 2 года, у меня будет мой театр <...>»,— пишет он из Карлсбада 26 августа 1913 г. А. В. Руманову, представлявшему в Петербурге известную сытинскую газету „Русское слово“.— Я лично переезжаю около 10 октября окончательно в Петербург»⁴¹. Однако все эти замыслы Понтера были опрокинуты ходом исторических событий.

До конца своей жизни Понтер остался горячим поклонником поэзии Блока, неумоимо переводил его произведения и сделал больше, чем кто-либо другой для популяризации его имени в Германии. Выпуская в 1948 г. в Мюнхене том стихотворений Блока, Понтер писал в предисловии (переизданном затем отдельной книжкой): «Восхищение побудило меня сорок три года тому назад приняться за эту работу, дружба помогла мне ее продолжить, а любовь завершить»⁴².

В этом же предисловии Понтер рассказал о своих встречах с Блоком. Позднее, в измененном виде, они перешли в книгу его воспоминаний, отрывки из которой публикуются ниже.

Книга «Жизнь на восточном ветру» содержит ряд любопытных и достоверных свидетельств о деятелях русской культуры начала века. В ней рассказывается как о писателях символистского круга, так и о поэтах-акмеистах (Ахматова, Гумилев, Мандельштам), футуристах (Северянин, Хлебников), видных художниках (Бакст, Сомов), режиссерах (Евреинов, Мейерхольд) и т. д. Воспоминания написаны честно, искренне, живо; она насыщены яркими подробностями. Преданность Понтера друзьям его юности не мешает ему видеть их слабые или смешные стороны, о чем у него рассказано то с теплым, доброжелательным юмором, то с едким сарказмом. Правда, не со всем, что



БЛОК.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Берлин. 1978
Обложка

сообщает Понтер, можно согласиться полностью. В его суждениях немало субъективного; местами и память подводит мемуариста. (Видимо, желая избежать неточностей, Понтер использовал в работе над книгой и ряд материалов, обнародованных в более позднее время; это, в частности, касается Блока⁴³.)

В целом же — при всей своей увлекательности — повествование Понтера как бы скользит по поверхности. Автор почти не размышляет, не анализирует — он лишь фиксирует наблюдения, сохранившиеся в его памяти. О событиях начала века Понтер до конца своих дней судил как непосредственный их участник — восторженно и пристрастно. Несмотря на свою близость к «русскому Парнасу», Понтер запомнил его в основном «снаружи». Он тонко ощущал «эстетическую» и «бытовую» стороны родственной ему литературно-артистической среды, ее, так сказать, «стилистику», но не мог проникнуть (ни тогда, ни позднее) в глубину тех противоречивых процессов, из которых слагался русский «Серебряный век». Его книга (она завершается 1914 г., когда Понтер в последний раз побывал в Петербурге⁴⁴) — это попытка скорее запечатлеть прошедшее, нежели осмыслить его с полувековой дистанции.

Столь же «одномерным» оказался в изображении Понтера и Блок. Мемуарист воссоздал загадочного «демонического» Блока, певца «Прекрасной Дамы», так и не поняв, что годы первой русской революции, когда он с ним встретился, были для русского поэта переломными. (Следует сказать, что драматические события тех лет вообще не отразились в воспоминаниях Понтера.) Не почувствовал Понтер и блоковского трагизма — его семейной драмы, сложности взаимоотношений с некоторыми из современников и т. д. Все это придает воспоминаниям Понтера известную беллетристическую «легкость».

Для данной публикации выбраны в основном те отрывки, где рассказывается о Блоке и его сподвижниках по символизму (Андрей Белый, Брюсов, В. Иванов, Ремизов и др.) и передана атмосфера культурной жизни Петербурга 1906—1908 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Письмо от 12 марта 1905 г. (на немецком языке). — ГБЛ, ф. 386, карт. 84, ед. хр. 26, л. 9 об.

² Русская муза. Собрание лучших оригинальных и переводных стихотворений русских поэтов XIX века. Составил П. Я. СПб., 1904.

³ В архиве Брюсова сохранилась открытка Понтера от 15 января 1905 г. в издательство «Скорпион». Понтер просит прислать ему, помимо журнала «Весы», иллюстрированный каталог издательства, выпущенные «Скорпионом» сочинения А. М. Добролюбова, Мережковского и Ф. Сологуба, а также «для рецензирования» — «Собрание стихов» З. Н. Гиппиус, драму Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Кольца» и обе «Симфонии» Андрея Белого (ГБЛ, ф. 386, карт. 84, ед. хр. 29). Но уже до этого письма в «Скорпион» Понтер обращался лично к Брюсову (см. след. примеч.).

⁴ Письмо Брюсова было, возможно, ответом на письмо Понтера к нему от 8 декабря 1904 г., написанное, по признанию немецкого поэта-переводчика, после того, как он прочитал в № 5 «Журнала для всех» за 1904 г. «Вечерные песни». Восхищаясь стихами Брюсова, Понтер просил у него разрешения на перевод его сочинений, сообщал, что намеревается посвятить ему одно из собственных стихотворений («ибо Вы для меня — один из самых привлекательных новейших поэтов»). Кроме того, Понтер писал, что готовит к изданию антологию «лучших современных русских поэтов». «Надо сказать, — восклицал Понтер, — что если бы весь „декаданс“ был столь же поразительно совершенным, зрелым и ясным, как Ваш русский, то на свете должны бы существовать только декадентские поэты!» (ГБЛ, ф. 386, карт. 84, ед. хр. 26, л. 1—2 об.; оригинал на немецком языке).

⁵ Судя по письму Понтера к Брюсову от 8 декабря 1904 г., эта книга была ему знакома еще до его обращения в «Скорпион» 15 января 1905 г. Он называет в этом письме «Urbi et orbi» «одним из лучших сборников стихов, наряду со стихами Бальмонта, Пютчева, Фета, Некрасова и отчасти Полонского. И, конечно, двух совершенно великих Лермонтова и Пушкина! Особенно Лермонтова!» (там же).

⁶ Имеется в виду антология «Русская муза» (см. примеч. 2).

⁷ В третьем альманахе «Северные цветы» (М., 1903) был напечатан цикл из десяти стихотворений Блока под названием «Стихи о Прекрасной Даме».

⁸ J. von Guenther. Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München. Erinnerungen. München, 1969, S. 66—68.

⁹ В библиографии переводов Понтера, опубликованной в 1967 г., указано 158 названий. См.: Rolf-Dieter Kluge. Johannes von Guenther als Übersetzer und Vermittler russischer Literatur.—«Die Welt der Slaven», 1967, Н. 1, S. 77—96 (библиография—S. 90—96).

¹⁰ Обзор литературной деятельности Понтера и перечень его опубликованных работ см. в кн.: Festgabe für Johannes von Guenther zum 80. Geburtstag am 26. Mai 1966. Nördlingen, 1966.

¹¹ ГБЛ, ф. 386, карт. 84, ед. хр. 26, л. 3 об. (письмо в оригинале написано по-немецки; выделенные курсивом имена русских поэтов здесь и далее написаны по-русски).

¹² ИРЛИ, ф. 289 оп. 3, ед. хр. 222, л. 2 об. (оригинал—на немецком языке).

¹³ Там же.

¹⁴ «Весье», 1906, № 7, с. 72.

¹⁵ Дружественные отношения с В. И. Ивановым Понтер сохранил на долгие годы. «Мне хотелось бы вести с Вами беседу тайную и полуночную—о Ней и о Эросе,—беседу, о которой потом не напоминают друг другу сами собеседники»,—писал Иванов Понтеру 10/23 января 1913 г. из Рима (ГБЛ, ф. 109, карт. 10, ед. хр. 28, л. 4; цитируется второй вариант черновика). Прерванная в 1914—1924 г. связь Понтера с В. И. Ивановым возобновилась после того, как русский писатель поселился в Италии.

¹⁶ В. Хлебников. Проза, статьи, записная книжка, письма, дневник. Л., 1933, с. 287.

¹⁷ Там же.

¹⁸ «Аполлон», 1909, № 3 и 1911, № 5 и 4.

В Литературном архиве при Национальном музее Шиллера (Марбах) хранится письмо Понтера к Ст. Георге, написанное на бланке журнала «Аполлон», с датой «20 ноября 1909». От имени редакции «Аполлона» Понтер просит «еще неопубликованных стихотворений, к переводу которых мы привлекли бы нескольких очень талантливых поэтов. <...> Проза, в пределах 4-6 страниц, была бы нам также крайне желательна». Перечисляя в конце письма публикации своих стихов в немецких журналах, Понтер добавляет: «...и, может быть, по ним Вы увидите, насколько автор любит и почитает Ваше творчество».

Письмо начинается с обращения «Высокочитимый господин...»; имя адресата в нем ни разу не названо: В Марбахском Литературном архиве письмо значится как обращенное к Рильке. Основание для нашей атрибуции: упоминание о статье Понтера, посвященной адресату (т. е. Георге), которая «в скором времени появится в одном из номеров журнала».

¹⁹ А. Ремизов. Встречи. Петербургский буерак. Париж, 1981, с. 199.

²⁰ Там же, с. 194.

²¹ См.: К. М. Азадовский. «...У нас с Вами есть что-то родственное» (Белый и Йоганнес фон Понтер).—В кн.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988, с. 473.

²² Там же.

²³ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Редакция, вступительная статья и комментарий В. Н. Орлова. М., 1940, с. 139.

В письме, наряду с известными поэтами, упомянуты А. А. Смирнов (1883—1962), товарищ Блока по историко-филологическому факультету, впоследствии—видный советский литературовед и переводчик, и С. Ф. Рафалович (1875—1943). Последний назван Белым, видимо, по ошибке. В письме Понтера к нему от 21 июля упоминался не Рафалович, а А. С. Рославлев (1879—1920).

²⁴ Там же, с. 140. Ср. с письмом Блока к матери (начало сентября 1905 г.): «...Какой-то немец перевел какие-то мои стихи и обращается через Бору с просьбой, чтобы я сообщил ему свою биографию» («Письма к родным», 1, с. 145).

²⁵ См.: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925, с. 79.

²⁶ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 140.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же, с. 141.

²⁹ J. von Guenther. Alexander Block. Versuch einer Darstellung. München, 1948, S. 6.

³⁰ Там же, с. 22—23.

³¹ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 175.

³² J. von Guenther. Alexander Block, S. 24.

³³ Все дарственные надписи Блока на книгах, подаренных Понтеру, опубликованы и снабжены комментарием в наст. изд., т. 3, с. 59—62 (публ. выполнена А. Е. Парнисом и Р.-Д. Клуге).

³⁴ «Письма Александра Блока к родным», с. 163.

³⁵ ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 222, л. 3.

³⁶ Die Lyrik des Auslandes in neuerer Zeit. Hrsg. von H. Bethge. Leipzig, 1907. Книга сохранилась в библиотеке Блока (см.: Библиотека А. А. Блока. Описание, кн. 3. Л., 1986, с. 108—109).

³⁷ «Когда под Рождество 1909 г. я возвратился домой, мне уже не казалось, что в Петербурге у меня остался друг; жизнь, что сводит и разъединяет людей, умудрилась расставить и нас с Блоком по разным углам духовного пространства. А впоследствии мы еще более отдалились друг от друга» (J. von Guenther. Alexander Block, S. 24).

³⁸ J. von Guenther. Ein Leben im Ostwind, S. 273).

³⁹ J. von Guenther. Alexander Block, S. 23.

⁴⁰ См. записи в дневнике Блока от 14 декабря 1911 г. и 22 апреля 1912 г. (VII, 102, 141). См. также надписи Блока на книгах, подаренных Понтеру в 1911 и 1912 гг. (наст. изд., кн. 3, с. 61—62).

⁴¹ ЦГАЛИ, ф. 1694, оп. 1, ед. хр. 212. В других письмах к Руманову (например, в письме от 25 августа 1912 г.) Понтер спрашивал его о возможностях сотрудничества в «Русском слове».

⁴² J. von Guenther. Alexander Block, S. 95. Выполненные Понтером переводы блоковских стихотворений подвергались как позитивной оценке, так и резкой критике. На примере «Незнакомки» Е. Г. Эткинд убедительно показал, что «переводческая работа Понтера пострадала именно от педантической приверженности (...) рутине метрической, смысловой, внешне-формальной точности» (Е. Эткинд. Поэзия и перевод. М.-Л., 1963, с. 386—387). Впрочем, в редчайших случаях Понтер, по мнению Эткинда, достигает «поистине феноменальной» точности — таков, например, его перевод стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (там же, с. 386). Однако П. Карп критически высказался по поводу этого «почти дословного» перевода: «Понтер переводит Блока как мертвый текст, он не потрясен (...) поэтому его феноменальная точность упускает из виду поэзию, а с ней и смысл подлинника» (П. Карп. Преображение. О переводе поэзии. — «Звезда», 1966, № 4, с. 209).

⁴³ Понтер знал, например, такие издания, как «Письма Александра Блока к родным», «Дневники» Блока, его переписку с Андреем Белым и др. (см.: J. von Guenther. Ein Leben im Ostwind, S. 100).

⁴⁴ Издание 1969 г. представляет собой первый том книги Понтера, работавшего и над ее продолжением. Еще при жизни автора упоминалось о втором томе его воспоминаний, якобы «находящемся в печати» (см.: R.-D. Kluge. Ein Leben für die Literatur. Johannes von Guenther zum 85. Geburtstag. — «Osteuropa», 1971, Jg. XXI, S. 826). Однако до настоящего времени обещанный читателям том так и не увидел света.

〈1906〉

...Петербург! Лишь растроганно и восхищенно могу я произнести твое имя! От тоскливых, но полных своеобразного очарования окраин доро́га приводит в центр к тускложелтым особнякам в классическом стиле и каналам, что дали тебе название Северной Венеции, к Исаакиевскому собору, этой воплощенной мечте из малахита, золота и гранита, и Казанскому собору, напоминающему собой окаменевший Грааль, к величественному Зимнему дворцу на широкой площади и гранитным набережным, вдоль которых тянутся дома-дворцы, а посередине Невы, насыщаясь из огромных озер, тяжело и безучастно катит свои воды в Балтийское море. Я вспоминаю золотую, уходящую ввысь иглу на здании Адмиралтейства, брусчатую мостовую Невского проспекта, где кареты могли двигаться в десять рядов, веселые острова в устье Невы — райские кущи для горожан летом, огромные парки и особенно прекрасный Летний Сад, всегда заполненный играющей детворой и няньками. И я думаю о блеске воспоминаний, которые ты таишь в себе: здесь на берегах Мойки умер Александр Пушкин, здесь гулял Гоголь, и ему мерещились твои призраки, в которых больше реальности, чем вымысла; вон из того окна глядел, хмурясь, Лесков на мир, погрязший в несправедливости, здесь Достоевский сражался с одолевающими его видениями, а у этой потемневшей двери Тютчев скомкал однажды листок бумаги, на котором были наброски его бессмертных стихов. Петербург! О тебе говорят, что ты — самый ветреный город на свете, но это восточный ветер, дующий от святых мест на Ладожском озере в открытое море. Петербург! Могучей волей неукротимого властелина тебе суждено было стать окном в Европу! На гранитном утесе возвышается Медный Всадник, не обращая вним: лия на извивающуюся, попираемую коном змею; своей простертой рукой он указывает на Запад. И каждой весной вокруг него снова благоухает сирень. Ты создан, Петербург, не из камня, а из человеческого духа; своими летними ночами под бледными северными небесами, своими промозглыми ноябрьскими ночами, когда заживо гибнут бедные души, ты напоминаешь мне сновидение; и я не знаю другого места на свете, которое столь неопровержимо могло бы доказать самому закоренелому скептику, что жизнь состоит не только из проклятой действительности, но что между нашим и иным миром существуют волны неизведанной длины.

И вот я в Петербурге. Куда же прежде всего я направил свой путь? Куда я мог его направить, кроме как к Александру Блоку!

Контрасты. Поэт Блок живет в казарме¹. Его отчим — полковник лейб-гвардии гренадерского полка. Нежно хранимое имя Блока мне пришлось назвать мрачному часовому, который указал мне квартиру полковника в первом этаже.

Раннее утро. Они меня уже ждали. Они жили в небольшой квартире, отгороженной от квартиры отчима.

Таким ли я представлял себе Блока? Именно таким. На нем широкая черная куртка с узким белым воротником. Он еще молод, ему двадцать шесть лет, но в его облике не осталось уже ничего юношеского. Среднего роста, стройный; правда, в фигуре есть какая-то приземистость, отчего порой он кажется чуть-чуть неловким. Его каштановые волосы слегка курчавятся; безбородое лицо, даже когда он весел, выглядит до странности собранным. Говорит медленно. Его светлые глаза можно назвать скорее печальными. Губы полные и удивительно красные. Над высоким овальным лбом — нимб своеправия и мечтательности. Движения медленные, иногда почти неуклюжие. Нельзя назвать его добрым или сердечным, но невозможно его не любить. Так может выглядеть только поэт.

А его жена, Любовь Дмитриевна? Чуть ниже его, стройная светловолосая, очень красивая. Но это какая-то несовременная красота, красота восемнадцатого столетия. Держится она уверенно и несмотря на свою молодость очень женственно. Жизнь принадлежит ей полностью, и она это знает. Она приветливее и веселее и, во всяком случае, куда решительнее, чем Блок. Сразу видно, что она умна, несмотря на свою грациозную привлекательность. Но изящества в ней нет: ее красивые руки чуть-чуть велики и несколько широк ее мягкий спокойный рот.

Это была великолепная пара: два человека, созданные друг для друга. У них я почувствовал себя как дома.

В этот же день я познакомился и с матерью Блока, очень стройной впечатлительной дамой, возможно даже чересчур предупредительной и интеллигентной; в ее любезности было нечто от лихорадочности, настойчиво побуждающей искать общения с другими людьми. В отличие от сына ее можно было даже назвать элегантною. Она происходила из семьи потомственных ученых, и в ней без труда угадывался интеллект.

Под конец появилась и ее сестра, госпожа Бекетова², что позднее с такой любовью написала о Блоке. Приветливая, очень женственная дама. Она принесла нам чай.

Блок чувствовал себя в этой атмосфере вполне уютно; казалось, ему нравятся быть окруженным женщинами, которые его балуют и восхищаются им. В нем было что-то от «маменькина сынка».

Мать пододвинула к нему записку. Любовь Дмитриевна взглянула на меня, засмеялась и покачала головой. Позднее я узнал, что мать и сын, живя в одной квартире, постоянно обменивались мыслями в письменном виде. Это может многое объяснить.

В тот день и вечер мы жили только стихами. Я перевел уже ровно две трети стихотворений о Прекрасной даме, и Блок — он очень хорошо знал немецкий — сразу же, конечно, захотел послушать все те переводы, которые я не успел послать ему. Мне льстило, что я буду читать стихи в этом кругу.

Я читал приподнято, как читали в кругу Георге: ударяя каждое слово с одинаковой силой, скандируя, не выделяя оттенков чувства и мысли, патетически. Это произвело впечатление, ибо так же читал стихи и Блок, хотя куда спокойней, можно сказать, бесстрастно, слегка глотая окончания слов и с гораздо меньшим напряжением, чем я, одним словом — естественнее. Более всего мне польстило, когда меня попросили прочесть мои собственные стихи: Блок сказал, что они ему очень нравятся. Особенный успех я имел у его жены и тети. Поразительно, что даже самый надменный из молодых поэтов чувствует себя окрыленным, когда его хвалят элегантные женщины. Слыша их похвалу, он причмокивает губами, точно дитя.

Блок читал много новых своих стихотворений — они заметно отличались от религиозно-магических «Стихов о Прекрасной Даме». В них слегка проступал природный демонизм, была какая-то сверхчувственная радость, не в духе его матери, однако жена его страстно защищала именно эти — конечно же, не

ей посвященные — стихотворения. Я, само собой разумеется, встал на сторону Любови Дмитриевны. Странно было слышать, как отстраненно они называли его: никто не говорил «мой муж» или «мой сын», лишь «Блок» или «он» или в лучшем случае «Саша».

Потом я читал стихи Стефана Георге, но Блоку они не понравились. К новейшей немецкой поэзии он вообще относился с поразительным равнодушием; вся его благосклонность была направлена на одного лишь Гейне, которого он много переводил, с глубоким проникновением, однако отдавая предпочтение его сентиментальным стихам — далеко не лучшим у этого поэта.

Под вечер появился отчим Блока, Кублицкий-Пиоттух, приятный, но несколько раздражительный господин, внешность которого выдавала его польское происхождение. Он был любезен, но трудно было отделаться от впечатления, что разговор наш его не интересует. Ничего удивительного. Ведь что только ни говорилось за столом и в присутствии этого вернопопданнически настроенного полковника! Сколько страстных, с революционным пафосом произнесенных речей приходилось ему выслушивать, зная при этом, что и женщины не на его стороне. Нередко он оказывался в малозавидном положении.

Нас пригласили за стол. Водка и закуска, стакан красного вина. Потом чай. Но и за столом продолжался разговор о стихах. Полковник отпустил несколько злых шуток — на них никто не обратил внимания. Когда я засмеялся, он с удивлением взглянул на меня.

На прощанье Блок сказал, что очень хочет повидаться со мной еще раз и познакомить меня со своими друзьями. И вот вечером через несколько дней я вновь стоял перед той же дверью.

Блоки встретили меня несколько сдержанно, потом они позвали мать. Александр Александрович (жена и мать называли его Сашей) попросил меня сесть и сказал, что приготовил для меня сюрприз. А потом прочитал обращенное ко мне стихотворение. Прекрасное стихотворение, выстраданное, идущее из глубины. Оно касалось того, о чем мы говорили и спорили в прошлый раз: видение Люцифера — падшего ангела, принявшего земные черты. Во время своего первого визита я высказал Блоку — быть может, несколько раздраженно — подозрение в том, что он сам считает себя воплощением ангела из Люциферова воинства. Блок ответил загадочно: над этим нельзя смеяться, нас еще мало.

И вот своим стихотворением — впоследствии оно не раз подвергалось различным толкованиям — Блок, раскрывая смысл некоторых так называемых тайных знаков, сам вовлек меня в это воинство. Смущенно улыбаясь, он протянул мне стихотворение. Я был восхищен и ошеломлен. Это было своего рода признание в дружбе, но к чему оно обязывало меня? Ведь я и без того был его последователем, он вовлек меня в *свое* воинство.

У меня тоже был приготовлен сюрприз: два сонета к жене Блока. Эти стихотворения у меня не сохранились, я помню лишь первую строчку: «Безмолвный остров ничего не знает». А второй сонет заканчивался так: «Безмолвный остров ничего не знал». То есть: цветущий символизм. Ибо особенность каждого убежденного символиста — создавать из реальных предметов и понятий комплекс личных переживаний. Слово «остров», употребленное по отношению к Любови Дмитриевне, должно было несомненно означать глубокую тайну, исполненную неизъяснимой красоты. То было сокровище и почтительное объяснение в любви. Именно так и восприняла это Любовь Дмитриевна; она взяла оба стихотворения, перечитала их, сложила вместе и поцеловала меня в лоб. И дала мне прозвище, которым отныне и называла: Herr Ritter*.

В Петербурге я получил и другие имена. Вячеслав Иванов называл меня: «тонкое пламя»³; на открытке, которую он послал мне из Рима в 1949 г., за

* Господин рыцарь (нем.).

несколько недель до своей смерти, стоит это обращение. Михаил Кузмин называл меня Погюс⁴. И было у меня еще такое прозвище: Каменный Мальчик.

Потом, ближе к вечеру, пришел поэт Пяст (поляк по происхождению), с которым я быстро сдружился. С ним можно было говорить о самых сложных вопросах просодии; он много занимался ими, в отличие от Блока, который мало интересовался просодией и поэтическими формами. Мы говорили с ним без усталости о видах сонета, о сонете Петрарки, сонете Шекспира, французских сонетах, написанных александрийским стихом, *sonetti a coda* *. Мы пытались понять, существуют ли, помимо дактилических, иные виды многосложных рифм, и совершали с ним многочасовые прогулки по садам мировой литературы. Мы оба были влюблены в испанцев; впоследствии он, как и я, перевел комедию Тирсо де Молины «Дон Хиль Зеленые штаны».

Пришел Сергей Городецкий, длинноногий верзила со светлой шевелюрой, шумный, веселый и общительный. Подобно Пясту, он был лишь немногим старше меня. Городецкий был тогда студентом (как Блок и Пяст) с ярко выраженными левыми настроениями. Он быстро прославился своими стихотворениями на фольклорные темы. У русских особое отношение к своему фольклору. Поэты, вышедшие из крестьянской среды, где ориентация на фольклор совершенно естественна, всегда находили у них живейший отклик; достаточно вспомнить Кольцова, последователями которого были Есенин и прежде всего Клюев. Городецкий не вполне вписывался в круг русских символистов. И хотя он сам всячески подчеркивал свою принадлежность к новой школе, дружил с Блоком и был любимым учеником Иванова, его все же нельзя считать «ортодоксальным» символистом. Уже очень скоро, в 1911 г., он основал вместе с поэтом Николаем Гумилевым лагерь акмеизма. Он был настоящим поэтом, и ему особенно удавались стихи, проникнутые непосредственным чувством, как, например, великолепная песня о русских странниках⁵. Сергей Митрофанович и я — мы были последними из русских поэтов серебряного века, оставшимися в живых. Не так давно он передал мне привет через мою молодую приятельницу в Москве и несколько теплых фраз; позвольте же с глубокой признательностью ответить на Ваше приветствие, мой славный товарищ тех незабываемых дней! — А теперь он тоже умер. И я остался последний.

Пришли также умный Евгений Семенов (Женя), близкий друг Блока⁶, который, помнится, с ним никогда не ссорился, и веселый, чрезвычайно подвижный композитор Панченко⁷. Мы были любознательной и непоседливой компанией, не пугавшейся никаких туманных образов, готовых на любую игру с небесами, которую мы вели остроумно и живо, изобретая новые слова. (<...>)

Рядом с письменным столом Блока находилась книжная полка с наиболее важными для него книгами; среди них — сочинения Владимира Соловьева, с которым Блок состоял в отдаленном родстве⁸. Я плохо знал тогда стихотворения Соловьева и спросил Блока, не разрешит ли он мне взять этот том с собой. Но он отказал мне почти неприязненно, заявив, что сделал на полях, рядом со стихотворениями, свои пометы, которых никто не должен видеть. При этих его словах Любовь Дмитриевна улыбнулась и кивнула мне. У меня появилось чувство, будто Блок что-то скрывает, возможно, угрызения совести. Через несколько лет я узнал, что это чувство не обмануло меня. (<...>)

Тогда в 1906 г. Блок еще не знал, куда ведет его путь. Но даже если бы знал, он все равно пошел бы этим путем. Отчасти из-за своего русского фатализма: «Ничего! Будь что будет!» Отчасти из-за такой же чисто русской потребности принести себя в жертву. Да и вообще: был ли Блок русским? Он сам отвечал: Да. Но был ли он им в действительности? Может быть, он был лишь младшим братом лермонтовского Демона?

* «Сонеты с хвостом» (итал.) — т. е. сонеты с дополнительным стихом.

Он был очарователен. Он так сильно верил в самого себя, что другим приходилось верить ему. Как новый Антиной, он в глубине души так сильно любил себя, что другие не могли не любить его. Мы все любили Блока. Тысячи людей любили его. И не только женщины — вся русская молодежь жила тогда блоковскими стихами. Его первые стихотворения появились в 1904 г., а в 1908-м он был уже кумиром молодой России.

Вместо четырех недель, которые я предполагал пробыть в Петербурге, я в конечном итоге провел восемь, и, разумеется, за это время неоднократно бывал у Блоков. Начавшийся между нами большой разговор продолжался, сближая нас все тесней и тесней.

В то время самым важным для меня произведением была «Vita nuova» Данте — описание его первой встречи с Беатриче. Однажды я сказал Блоку, что в его «Стихах о Прекрасной Даме» я вижу такое же изображение бессмертной любви, но есть одно различие: Блок стихами описывает то, что Данте передал прозой, дабы обрамить этой оправой свои сонеты. Блок задумался и ответил, что такая форма, пожалуй, была бы и для него наилучшей. И вдруг он стал бурно благодарить меня за совет и сказал, что я глубже всех чувствую нескazanное в нем. Позднее я узнал, что он в течение долгого времени вынашивал в себе идею переделать цикл «Стихов о Прекрасной Даме» в «Vita nuova». Ах, какая могла бы получиться книга! Этот план Блока принадлежит к числу параллельных переживаний и замыслов в его и моей жизни. <...>

Духовным вождем петербургских символистов был тогда Вячеслав Иванов, которому уже минуло сорок лет. Он был поклонником Владимира Соловьева, учился в Германии и, бесспорно, принадлежал к числу наиболее образованных и сведущих людей своего времени. Его строгие по форме стихотворения, слегка стилизованные под античность, отличались высоким пафосом. Он умело вводил в свой язык тяжелые древнерусские слова, подчас затемнявшие смысл его эзотерической поэзии. Я увидел в этом сходство со Стефаном Георге, что сразу же покорило меня. В его стихах было иератическое, жреческое начало, отчего их убедительность возрастала вдвое: они не казались надуманными, они шли из самого сердца.

Я уже раньше переписывался с ним и в своей ненасытности навестил его в тот же день, когда впервые встретился с Блоком. Иванов жил в угловом доме на Таврической улице (номер 25), прямо напротив пышного Таврического сада, в котором стоял дворец знаменитого государственного деятеля и полководца князя Потемкина-Таврического. <...> То, что Вячеслав Великолепный (так его называли, и в этом было немало справедливого) поселился именно здесь, не показалось мне случайностью. Он много путешествовал по Европе и всего лишь два года назад возвратился в Россию, избрав своим местожительством Петербург — это был в известном смысле роковой выбор. Флюиды, исходившие от этого человека, оказали в те годы решающее воздействие на многих. <...>

Мне повезло. Как раз в это время с него писался портрет, и мне было разрешено при этом ежедневно присутствовать. Он мог уделить мне много времени, и мы с ним быстро сблизились.

Один московский миллионер, собиратель произведений современного французского искусства, решил основать в Москве художественно-литературный журнал, названный им «Золотое руно»⁹. Он хотел получить для своего журнала портреты всех современных поэтов и сделал заказ живописцу и графику Сомову: серией совершенных работ художник должен был увековечить для потомства Блока, Иванова, Кузмина и Сологуба (ограничусь лишь этими именами). Брюсова написал гениальный, но душевнобольной Врубель, а Зинаиду Гиппиус — Лев Бакст.

На эти сеансы допускались лишь немногие; возникала интимно-доверительная обстановка, что было для меня, разумеется, особенно ценно.

Здесь царил совершенно другой духовный климат, чем в доме Блоков. Слова были, правда, почти такие же, и тем не менее все было иное. Как это

назвать? Магически-романтическая темнота блоковского мира уступала здесь место просвещенной и чистой прозрачности, которая хотя и не чуждалась мистики и даже заигрывала с магией и чернокнижием, но все же в основе своей была свободной и самостоятельной и вовсе не тяготела к мечтательству.

Новая античность, к которой в лице Сомова добавлялся дух французского восемнадцатого века.

Элегантный остроумный Сомов был незаурядной личностью. Среднего роста, не без изысканности, с добрым и теплым взглядом, тонкими пальцами, умным и насмешливым ртом, он принимал живое участие во всех беседах, продолжая при этом усердно работать над портретом. Ни одной лишней линии. Смотреть на него было подлинным наслаждением. Внимательность, с которой он рисовал (он без сомнения был одним из лучших графиков той золотой эпохи русского искусства), проявлялась также, когда он слушал собеседника. Я думаю, что никогда больше не встречал такого замечательного слушателя.

Иванов тоже умел прекрасно слушать.

Достоин и терпеливо, с улыбкой Моны Лизы, восседал он во время сеанса. Своими светлорыжими волосами, что спадали ему на плечи и, напоминающая ореол, обрамляли его львиную голову, своей светлой бородкой и неизменно темной одеждой он походил на персонаж из другого века. Сорокалетний, большой, широкоплечий; вихляющая походка; светлые благожелательные глаза, близоруко поблескивающие сквозь смешно подрагивающее пенсне; высокий голос. Знания его были воистину огромными; он владел свободно по меньшей мере восемью языками и мог иногда, сам того не замечая, переходить с одного языка на другой. Он знал греческий, латинский, немецкий, французский, английский, итальянский и кроме того древнееврейский и русский, который (как и весьма отличный от русского церковнославянский) был знаком ему вплоть до глубочайших корней. Он любил Гёте и знал его наизусть, особенно «Фауста». <...>

Ивановские «среды», ставшие уже достоянием истории!

К десяти вечера собирались люди. Просторная комната с глубокой оконной нишей, в которой стоит рояль; рядом — комната поуже с письменным столом и большой библиотекой, разместившейся на высоких стеллажах. В этих двух помещениях было подчас не протолкнуться; в одно и то же время здесь скапливалось иногда до шестидесяти, семидесяти человек.

Пыхтел самовар (алкогольных напитков на этих вечерах не полагалось), и философы, религиозные философы и историки под ненавязчивым руководством Иванова начинали обсуждать различные проблемы, чаще всего рассевшись вокруг очень длинного стола, где подавалась и еда. <...> Здесь нередко бывали Блок с женою, писатель Алексей Ремизов с женою, Сологуб, Сомов и Бакст, какие-то женщины, общительные и искушенные (одна из них даже пыталась соблазнить меня гашишом и подарила мне маленькую малахитовую шкатулку, наполненную светлокоричневым, с привкусом меда, веществом), и в первую очередь молодые поэты во главе с Городецким и Пястом.

Едва лишь в философских и научных дискуссиях наступала пауза, как в комнату влетала с развевающимися волосами Лидия Дмитриевна, жена Иванова, и громогласно объявляла, что молодые поэты уже изнывают от нетерпения прочитать свои стихи. И тут мы выступали по очереди, один за другим, читали, пели и проповедовали.

Городецкий всегда выдвигал меня, и тогда к немалому удивлению философов я начинал декламировать свои немецкие стихи, но читал также Георге и иногда Гофманшталя¹⁰. Городецкий вообще был очень расположен ко мне. Однажды он провожал меня домой в чуть брезживших сумерках апрельского утра, и тогда возникло его прекрасное стихотворение, посвященное мне¹¹. Третье стихотворение, посвященное мне, написал Иванов. Его русский оригинал погиб, сохранился лишь мой перевод. Я помню лишь две первые строчки Иванова: «На Востоке Люцифер Веспер на закате».

Эти ночные сборища длились долго, иногда очень долго; вспоминаю, как однажды мы встречали солнечный восход на крыше дома, куда мы поднялись вслед за Ивановым. Под нами лежал Таврический сад, просыпающийся Петербург розовел в дымке восходящего солнца, до нас почти не доносилось звуков, и здесь, наверху, Блок своим ровным спокойным голосом прочитал «Незнакомку». Я думаю, что это бессмертное стихотворение было исполнено тогда впервые¹². Все это было очень по-русски и все же как-то не по-русски — за гранью эмпирии, напоминало святой и безбожный Петербург, самый беспокойный и призрачный город на свете. Среды Иванова были звездными часами не только русского, но и европейского духа: русский гений открывался в них навстречу зову старого мира.

Бывая у Иванова, я часто думал о Стефане Георге. Ибо Иванов отчасти воплощал для меня представление о поэте. Уже одна его патетическая манера чтения, духовная, как бы устремленная ввысь и напоминавшая речитатив, способствовала такому впечатлению. Восхищенный и ослепленный Ивановым, в котором многое было не русским, я видел в нем тогда спектр европейской культуры. <...>

Все сильнее становилось во мне желание познакомиться с духовной жизнью Москвы. Денег для поездки не хватало, поэтому кто-то предложил мне выпустить отдельной книжкой мои переводы современных русских поэтов. Я получил солидный аванс и мог отправиться в Москву. Разумеется, задуманное издание так и не увидело свет.

В гостинице «Метрополь», на широкой площади против здания Большого театра, помещалось издательство «Скорпион». По утрам там принимал Брюсов. Он поразил меня¹³. Высокий и стройный, в своем наглухо застегнутом черном сюртуке, он производил впечатление серьезного и зрелого человека. Голос его был немного тонок, звучал странно и совсем не подходил к его замкнутому, неприступному, слегка татарскому лицу с маленькой темной бородкой. Почти во всем он казался мне полной противоположностью веселым, живым и открытым петербуржцам. Он принял меня подчеркнуто вежливо, но тут же стал разыгрывать передо мной перегруженного работой редактора. Снисходительно улыбаясь, он слушал мои рассказы про Петербург. Он соблюдал дистанцию. Конечно, он восхищается Ивановым, но к сожалению... И Сологубом тоже, однако... Безоговорочно принимал он, кажется, одну лишь Зинаиду Гиппиус и был поражен тем, что мне известны различные псевдонимы, под которыми она печаталась в его журнале «Весы». Откуда? Я не раскрыл своих источников: мне сообщили об этом Блоки и жена Ремизова.

Мы сидели вдвоем в редакции «Весов», здесь же помещалось и издательство (комната побольше и маленькая комната рядом с кладовкой), и он, немного помедлив, начал читать стихи. Холодно, методично, невыразительно, но впечатляюще. Внимательно выслушав мои переводы, он сделал несколько толковых замечаний. Его чрезвычайно интересовал Георг, ему хотелось знать о нем как можно больше. Он назвал себя ярым сторонником шестнадцатистрочника (четыре строфы, по четыре стиха в каждой), которому отдавал предпочтение и Георг. Брюсов сказал, что такие стихотворения чрезвычайно нравятся ему типографски и что в своем сборнике «Urbi et orbi» он — исключительно ради внешнего вида — удлинил на четыре строчки стихотворение, первоначально состоявшее из трех строф. В делах книгопечатания он вообще равнялся на сборники, издаваемые Георгом Бонди¹⁴.

Его знание иностранных языков казалось невероятным. Чего только он не держал в памяти! Я думаю, что он знал наизусть всю «Энеиду», обе части «Фауста» и «Божественную комедию». Всего Верлена, половину Верхарна. Он был образован не менее, чем Иванов, но его знание нельзя было назвать радостным или привлекательным; это было высокомерное, я бы даже сказал, изнурительное знание. И все же он подавлял меня; я чувствовал себя перед ним первоклассником. Брюсов был неповторим; он мог говорить безупречно сде-

ланными терцинами на любую заданную тему. Стоило ему дважды прочитать стихотворение, как он уже знал его наизусть. Общаться с ним было не легко. Он не только пытался походить на мага, он, казалось, был им в действительности. <...>

Кроме Брюсова, интересовал меня в Москве Андрей Белый; подобно Блоку, он происходил из профессорской семьи. Белый — это псевдоним («ангел») Бориса Николаевича Бугаева. Повидавшись с Брюсовым, я в тот же день поехал на Арбат, чтобы навестить Белого.

Он был высок и строен; светлые волосы, редкие, но сильно торчащие в стороны, высокий лоб, непостижимо светлые, переменчивые, чуть косые глаза, движения как у прыгуна или танцора, широкие размашистые жесты и порой резко срывающийся «на петуха» голос — все это ошеломило меня. Его аффектированная манера речи придавала ему подчас какой-то нереальный облик. Не увлеченность игрой, а скорее намеренная игра, чтобы поразить других. И детское тщеславие.

Он играл роль, которая называлась «Андрей Белый». Знал ли он, что играет? Думаю, что знал. Подсознательно, сознательно.

Речь его была скачкообразной, следить за ней было трудно. Зато всегда интересно: таких гениальных ассоциаций, какие рождались в голове у Белого, я не встречал больше ни у одного человека.

В то время он имел обыкновение читать свои стихи нараспев, используя мотивы народных песен. Это вполне подходило для его тогдашних стихов; они воспринимались как социальные раздумья в духе Некрасова, окрашенные цыганскими мелодиями. Его ранние стихи («Золото в лазури») совсем другие: отчасти символистские, разбавленные вагнеровскими аллегориями, отчасти шуточные, перенесенные в жеманно-напыщенный мир рококо, и только немногие из них — чарующе меланхолические и музыкальные.

Да, он пел свои стихи и этим поразил меня. Друзья же его читали стихи как следует, особенно талантливый Сергей Соловьев, племянник философа и родственник Александра Блока.

В тот же вечер Белый пригласил меня на встречу поэтов. Здесь я познакомился с молодой Москвой. Сперва мне все чрезвычайно понравилось. Вечер в моем вкусе. На первом плане — вопросы просодии. Ода. Мне пришлось говорить о немецкой оде, о Фоссе¹⁵, Штольберге¹⁶ и Хельти¹⁷. Слушатели расположили меня к себе своей осведомленностью. Речь шла не только о разновидностях оды и стихотворных размеров, но и о наиболее сложных греческих строфах. До пзана, впрочем, я тогда еще не добрался, для них же пзаны были повседневностью, как хлеб насущный. Они подробно расспрашивали меня о Георге. Написанный мной венок сонетов привел их в восхищение. Я прочитал лекцию о сонете. Мои переводы стихотворений Белого разбирались строчка за строчкой и были одобрены.

К Петербургу и петербургским поэтам они относились критически. Особенное неудовольствие вызывал у них «новый Блок» — автор «Балаганчика». Здесь и произошла легкая перебранка между ними и мной; ситуация еще более обострилась, когда я прочитал мои сонеты к жене Блока. Белый напустился на меня: в этих сонетах ему чувствуется слишком земной привкус, возмутительно обращаться с такими стихами к святой. Мое возражение, что стихи эти, дескать, очень понравились госпоже Блок, ничуть не помогло. А когда я еще осмелился добавить, что Люба Блок назвала меня «рыцарем», Белый прямо-таки закипел от негодования. Неужели это ревность? Неужели он считает, что, кроме него, никто не смеет посвящать Любе Блок стихи? Похоже, что так.

Но он быстро остыл, и все пошло по-прежнему. Мы музицировали и изощрялись в афоризмах. А потом — как ни удивительно — был прекрасный ужин.

Кончилось тем, что Белый пошел провожать меня в гостиницу, и мы долго гуляли с ним — почти до самого рассвета. Незабываемы его фантазии о бронзоваврах, что некогда паслись на лугах там, где сегодня стоит Москва, и о их

преследователях, кровожадных проворных разбойниках, игуанодонтах. От прыжков Белого мне временами становилось жутко. Путешествия к далеким звездам, одобренные непонятными математическими формулами, погружения в глубины слова во всех его вариациях. На другое утро явился посыльный и принес красивое, несколько фантастическое стихотворение Белого, посвященное мне. Несколько лет спустя он напечатал его, слегка изменив, в своем сборнике «Пепел»¹⁸.

Когда через несколько дней я возвращался в Петербург, в том же поезде ехал и Белый. Он перебрался ко мне в купе, и мы часами болтали с ним о разных вещах. В том числе и о Блоках. Теперь я убедился, что он влюблен в жену Блока и ревнует ее к Александру. Но такая влюбленность была мне чужда: москвичи одухотворили Любу Блок и, лишив ее телесности, превратили в священный призрак. Они поклонялись ей, тогда как на деле она была реальным живым существом. Я никогда не мог понять этой формы идолопоклонства.

В тот вечер в поезде Белый пришел в какое-то возбужденное состояние и стал откровенничать. Одна из особенностей русских людей заключается в том, что они часто, и притом совершенно неожиданно для собеседника, становятся настолько откровенными, что начинаешь с опаской думать, не обернется ли это излияние души в конце концов враждебным чувством — так оно обычно и бывает. Белый рассказал мне ряд эпизодов из своей жизни, связанных с Блоком и его женой: мне казалось, что он говорит много лишнего. Но, с другой стороны, как трогательно слушать его почти тоскливые признания! И как трогательно, когда он переходит на шепот и кладет свою руку мне на рукав! Он верил, что любит жену Блока, верил и в то, что раньше она его тоже любила, а теперь смеется над ним. Вот он наклоняется вперед, пристально глядя мне в глаза. Выражение его лица при этом такое естественное, что не верить ему невозможно. Остается вопросом, как много в этом от игры и не игра ли это от начала до конца? <...>

Позднее, думаю, Белый раскаивался в том, что в порыве чувств доверил мне так много личного и сверхличного. Мне еще приходилось встречаться с ним в Петербурге, но лишь случайно, и такого рода беседы больше не повторялись. Мы не смогли подружиться еще и потому, что позднее он всецело и без оглядки увлекся антропософской абракадаброй Рудольфа Штейнера. <...>

Последние три недели этого столь важного для меня путешествия я провел в гостях у Алексея Ремизова и его жены, Серафимы Павловны.

Алексей Михайлович Ремизов, старше меня десятью годами, был поэт и чудак, каких я сроду не видывал. Маленький, тщедушный, взъерошенный, неуклюжий, но юркий, он немного напоминал мне ежа своими живыми круглыми глазками, маленьким вздернутым подбородком, маленькими ручками и ножками. Его глубокая привязанность к старой России с ее стародедовскими устоями и таинственными обрядами, весь его коренящийся в фольклоре уклад чрезвычайно располагали к себе. А его прозу, где реалистические наблюдения перемешаны с самыми невероятными вымыслами, до сих пор нельзя ни с чем сопоставить. Он был нежным, чувствительным, глубоко ранимым человеком, пострадавшим в юности за политику и укрывшимся в своем причудливо сказочном мире.

Серафима Павловна, его жена, почти одного с ним возраста, относилась к нему по-матерински. Она была видная женщина, происходившая из древнего литовского дворянского рода (Довгелло). Со знанием дела вела она замысловатое хозяйство в их довольно тесной четырехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже. Стряпала она тоже сама — служанка заходила лишь днем, и мне кажется, что в те годы, когда слава Ремизова еще не утвердилась, им обоим приходилось не слишком легко.

Они вели странную жизнь: Ремизов писал, а его жена переводила. Вставали они поздно, потому что вечером у них сидели гости, уходившие лишь далеко

за полночь: Сомов, Блок с женой, Василий Розанов, философ и сотрудник реакционнейшей тогда русской газеты «Новое время», богоскатель, захваченный теологическим в своей основе любопытством к вопросам пола, консерватор, полный революционных порывов. В то время он занимался исследованиями древнего Египта. К сожалению, он остался мне чужд в своем, казалось, рассудочном шутовстве, тогда как чудаковатый Ремизов полностью покори́л меня.

Мне и сегодня становится смешно, когда я представляю себе, сколько я потратил усилий, чтобы убедить Ремизова в величии Георге. Оба совершенно не вязались друг с другом, но из чувства дружбы Ремизов склонен был поддаваться моему напору. Спустя десятилетия, в эмиграции, он написал забавную, но злую статью, в которой издевательски утверждал, будто Георге вовсе не существует и это имя выдуманно мной. В такой ядовитой остроумной игре есть что-то от «Облаков» Аристофана.

У Ремизовых я познакомился в пасхальную ночь с Татьяной Гиппиус, хорошенькой молодой художницей, которая незадолго до этого написала портрет Александра Блока, воспроизведенный в моей книге о нем¹⁹. Это была чистая душа, открытая навстречу всему живому и насущному; в ней крылась какая-то радостная, заразительная религиозность, и ее разговоры на эту тему были мне очень полезны. Я не раз навещал ее в большой квартире Мережковских (они находились тогда в Париже), где она жила со своей младшей сестрой. Тата и Ната — имена уменьшительные от Татьяны и Натальи — были всехитительными девушками, естественнейшими существами в Петербурге. <...>

Наступил май 1906 г. и петербургские острова покрылись зеленой листво́й. Я должен был возвращаться домой²⁰. Сердечно простившись с Ремизовыми, я уселся на извозчика, обогащенный чемоданом с книгами, которые получил в подарок от поэтов, и покати́л на Балтийский вокзал. И уже почти достигнув цели, я обнаружил, что забыл свой паспорт, и вынужден был повернуть обратно.

В России тогда каждому надлежало иметь свой паспорт. Останавливаясь в каком-либо месте — неважно, в гостинице или частной квартире — его вручали портье, который должен был предъявить его в полицию. Именно у портье того дома, в котором жили Ремизовы, я и забыл свой паспорт. Было ли это предзнаменование? Возможно.

Несмотря на это происшествие, я все-таки не опоздал на поезд. <...> Приехав сюда, я был ребенком, но за восемь недель я прошел целый университетский курс. Мне пришлось поневоле усовершенствоваться в русском языке, я ведь все время говорил по-русски. Лишь вначале некоторые из моих друзей говорили со мной по-немецки — этим языком владел тогда почти каждый. К концу этих восьми недель все разговаривали со мной только по-русски.

Я открыл для себя новый мир поэтов. Отличался ли он от мюнхенского? Да, отличался. <...> Раньше я писал стихи, теперь же я пережил их. Стихи состоят не только из красивых слов, сами слова должны быть столь выразительны и необходимы, чтобы воздействие их можно было измерить градусником. Все, что я написал раньше, казалось мне теперь пустозвонством. Мой слух уловил что-то новое.

Что-то новое видели и мои глаза. Нет, не только новый русский мир. Конечно, он был для меня нов, но за ним я ощутил дыханье самой души — святое пламя духа, когда оно возгорается любовью.

Упоенный этим новым бытием, опьяненный жизненными впечатлениями, весенней ночью я возвращался домой. <...>

В хорошем настроении я вновь отправился к друзьям в Петербург²¹. Блоки уже возвратились с дачи; они занимали новую квартиру²². Вот неожиданность! Блок живет самостоятельно! Можно ли поверить, что он добровольно расстался с атмосферой родительского дома и вышел из-под материнской опеки?

Квартира, в которой они теперь жили, была скромная, гораздо меньше прежней, три ступеньки вверх, если не ошибаюсь. Спальня, крошечная столовая и кабинет, также небольшой по размерам. Все очень просто, но уютно.

Блоки настояли на том, чтобы я остановился у них. И я ночевал на кушетке в кабинете.

Я узнал поразительные новости.

После «Балаганчика», что появился в изданном Чулковым альманахе «Факелы» и произвел немало сенсационного шума, Блок на время целиком отдался театральному творчеству и написал еще две лирических драмы²³. «Балаганчик» же готовился к постановке в театре Веры Комиссаржевской — ведущем из русских новаторских театров²⁴. Режиссером был сам Всеволод Мейерхольд.

Поэтому Блоки сблизились с театральной средой Петербурга. Это-то и привело к знакомству Блока с актрисой Натальей Николаевной Волоховой. Любовь Дмитриевна слегка усмехнулась, а потом сказала, что Волохова очень красива и очень опасна для поэтов.

Выяснилось, что Волохова провела несколько недель с ними в их новой квартире и даже спала на той же кушетке, что и я. Это было дивное время — Саша написал множество новых стихотворений. О да, для Натальи Николаевны. Прекрасные стихи.

Некоторые из этих стихотворений он прочитал мне. То была снеговая стихия буйной страсти, подчас достигавшей головокружительного ритма; казалось, он вот-вот захлебнется. Стихи рождались не из минутного порыва или мелодии, о нет, в них таилось богатство неизвестных прежде образов, переполнявшее эти строки. Их интонация местами становилась необычной. Возможно, было в них что-то слишком личное. Но все равно они зачаровывали, эти взволнованные и волнующие стихи.

Что же произошло? Любовь Дмитриевна держалась спокойно и уверенно. Ничего не могло произойти, и все-таки что-то произошло.

Блок, всегда воплощавший спокойствие, был теперь беспокоен и слегка нервничал. Он подолгу стоял у окна. Правда, взгляд его был прям и тверд, как прежде. Та же почти лапидарная манера речи. И все же я не обманывался: в нем произошла перемена. <...>

Петербургской театральной среды я в то время еще не знал. Лишь позже я вошел в эти круги, а кое с кем даже сблизился. Однако мое знакомство с Волоховой, для которой Блок написал целый цикл прекрасных стихотворений («Снежная маска» посвящена Н. Н. В.), было весьма беглым. Не скажу, что она мне понравилась. Она была полной противоположностью Любе, очень стройная и темноволосая, но мне она показалась жеманной и неестественной. Она лишь строила из себя красавицу. Конечно, я понимаю, что решающую роль в таких делах играют некоторые оттенки личного вкуса и что можно было любить белокурую Любу и в то же время испытывать радость от встреч с темноволосой Натальей.

Я провел у них лишь несколько дней, но, расставаясь с друзьями, я чувствовал себя счастливым: мы остались прежними, мы даже стали еще более близкими. И я не думал тогда, что это может когда-либо измениться — так открыто мы, все трое, относились друг к другу.

<1908>

<...> В конце апреля 1908 г. я отправился в Петербург, чтобы завоевать мир своей пьесой²⁵, где главную женскую роль должна была исполнять одна миловидная девушка, поехавшая вместе со мной. Для нее я написал эту вещь за четыре месяца <...>

Первым делом я отправился к Вячеславу Иванову на Таврическую 25. Утро уже подходило к концу. Швейцар Павел в длинном синем одеянии, усеянном металлическими пуговицами (не то шинель, не то пальто, не то халат),

отворил мне дверь. «Господа дома», — сказал он, поднес руку к козырьку и — дабы оказать мне особую честь — поднялся вместе со мной на лифте и высадил меня между пятым и шестым этажами.

Как это ни удивительно, но Вячеслав Великолепный был уже на ногах. В Петербурге, где ночь превращалась в день, в ту пору вставали поздно, а позже всех Вячеслав, работавший обычно до самого утра.

Лидия Дмитриевна, его привлекательная и представительная супруга, год тому назад внезапно умерла²⁶, и это могло обернуться почти катастрофой для уклада жизни на башне, ибо Вячеслав был самый непрактичный человек на свете. Но хозяйство стала вести Мария Михайловна Замятнина²⁷, художавшая, энергичная, расторопная и неглупая женщина неопределенного возраста. <...>

Овдовевший Иванов выглядел так же, как и два года назад. Он всегда предпочитал темную одежду, поэтому трудно было сказать, носил ли он траур. Светлорыжие волосы, обрамлявшие, словно нимб, его голову, стали еще длиннее. Все так же весело подпрыгивало пенсне на его мясистом носу. По-прежнему быстрой и резкой была его вихляющая походка; добродушная улыбка оставалась чуть насмешливой и непроницаемой, как прежде. И все так же он жил стихами. Войдя, я с изумлением обнаружил, что вместе с ним за столом, как и два года назад, сидит милейший Константин Сомов. За это время он написал ряд замечательных портретов русских поэтов, среди них — зловещий портрет Александра Блока и демонический, отталкивающий, но чрезвычайно похожий и выразительный портрет Федора Сологуба²⁸.

В квартире ничего не изменилось, разве что кипы книг стали еще выше; казалось, они вот-вот развалятся.

К завтраку явился также Максимилиан Волошин, показавшийся мне совсем не русским. Его длинные темнокаштановые волосы, завиваясь колечками и слегка отсвечивая каким-то сальным блеском, спадали на воротник его эlegantного черного сюртука на шелковой подкладке, под которым он носил жилет с пуговицами в два ряда. Над этой косматой гривой возвышался модный цилиндр. Он был крупный, широкоплечий, в нем ощущалась тучность. Он тоже носил пенсне; у него тоже была ухоженная борода. Он только что приехал из Парижа²⁹ и по-светски непринужденно рассказывал последние сплетни и новости; он говорил, в частности, об Анри де Ренье, которого весьма почитал³⁰, и особенно много — об удивительном Поле Клоделе, писателе и генеральном консуле...³¹

Узнав, что я только утром приехал в Петербург и еще не нашел себе пристанища, Иванов предложил мне остановиться у него. Он снимал еще две квартиры, примыкавшие к его собственной: в одной жили дети, другую же, трехкомнатную, что тогда пустовала, он предложил мне. Я с радостью согласился и таким образом провел почти четыре месяца под одной крышей с Ивановым и его семьей. <...>

Но самое удивительное знакомство еще предстояло мне. Уже раньше я читал в журнале «Весь» глубоко пронзившие меня «Александрийские песни», написанные современным русским поэтом. И в первый же день я познакомился с ним!

Михаил Кузмин был на одиннадцать лет старше меня. Среднего роста, изящный, с незабываемой греческой головой. Линия лба продолжалась в очертаниях благородного носа, а большие коричневато-золотистые глаза чуть-чуть косили (индийский идеал красоты). Он носил тогда эспаньолку; редкие темные волосы были искусно уложены на голове. Одевался он, как денди, великолепно; у него были маленькие ступни и красивые руки. Он довольно быстро говорил, при этом речь его иногда становилась шепелявой и неразборчивой, а свои фразы он часто заканчивал лукавой усмешкой и добавлял: Что? Что? Он был бесконечно любезен и глубоко жизнерадостен. <...>

Стихи его были мелодичны, ибо в течение долгого времени Кузмин считал себя композитором, а не поэтом. Он был учеником Римского-Корсакова и продолжал сам сочинять музыку.

Кузмин жил в том же доме, что и Иванов. Он снимал две комнаты этажом ниже у художников-кустарей. Иванов дружил с ним и рад был видеть возле себя его друзей; и неизбежно выходило так, что в те дни, когда Кузмин не писал и не работал, он с утра и до позднего вечера находился наверху — на башне.

Он писал также прозу и был автором небольших, слегка манерных пьес, похожих на комические оперы. Некоторые из них, а также отрывки из его романа изданы при участии его друга Константина Сомова; эти изумительные частные издания представляют собой теперь библиографическую редкость³².

Под заголовком «Куранты любви» Кузмин создал серию из двадцати четырех музыкальных миниатюр, в основном — романтические песенки о смене времен года. Он играл и пел их в первый вечер моего пребывания в Петербурге. Изящная музыка и выразительно звучные, несмотря на всю их простоту, стихи были искусно слиты воедино; не приходилось удивляться, что в Петербурге и Москве все восхищались этим поэтом-музыкантом. Песни и ноты вместе с рисунками пером и гравюрами Сергея Судейкина и Николая Феофилактова были вскоре выпущены в московском издательстве «Скорпион» — одно из самых замечательных явлений на русском книжном рынке³³.

Ни один вечер, ни одна ночь не обходились без музыки. Мы редко ложились спать раньше трех. Мы слушали «Куранты любви» и все не могли наслушаться. Кузмин играл также сонаты Бетховена, и я редко слышал, чтобы «Лунная соната» звучала проникновеннее, чем у него. Она воистину становилась лунной, ибо за высоким окном простиралось, глядя на играющего, ночное петербургское небо, а в комнату из Таврического сада доносились запахи весенних и летних ночей. Бетховен, Шопен, Моцарт. Кто хоть однажды слышал «Куранты любви», не сможет их никогда забыть. Лишь несколько лет тому назад я решился наконец спеть одну из тех песен — я все еще помню их наизусть, ее тотчас подхватил мой приятель Юрий Семенов (писатель, живущий в Упсале), и, захлебываясь счастливым смехом, мы вдвоем пропели ее до конца. Иногда мне хочется втайне верить, что облик мира был бы иным, если б все люди, наделенные артистическим даром, пожелали сблизиться в таком порыве. Долой снобов, да здравствует танец граций и мудрость прекрасных муз!

Вскоре мне пришлось читать мою пьесу. Правда, по моей настойчивой просьбе, круг слушателей был ограничен: Иванов, Сомов и Кузмин. И хотя я был неплохим исполнителем собственных произведений, но чтение, длившееся почти пять часов, кончилось для меня плачевно. Моя пьеса, в картинах изображавшая превратности, что выпали на долю любящих за многие столетия, показалась Иванову неубедительной. Ему понравилась лишь вторая картина, в основу которой была положена легенда об Орфее и Эвридике. Сомов вежливо заметил, что надо попытаться отдать эту вещь в театр: возможно, ее возьмет госпожа Комиссаржевская; ее мог бы поставить и Мейерхольд. Зато Кузмин сразу же перешел к практической стороне дела. Он сказал, что у меня ничего не выйдет, пока пьеса не переведена на русский язык, и вызвался сделать перевод. Разумеется, это было для меня большой победой, хотя отзыв Иванова меня огорчил: он всегда относился к моим стихам благосклонно³⁴.

Кузмин не шутил. Он действительно взялся за перевод и работал над ним — при моем участии — каждую ночь. Это был подвиг добросердечности — пьеса моя не заслуживала, конечно, столь великолепной поддержки. Пока Кузмин переводил, я сидел рядом с ним, пытаясь переложить на немецкий язык его «Куранты любви». Тринадцать лет спустя эта работа увидела свет: она была издана в Мюнхене небольшой красиво оформленной книжечкой. Правда, в Германии ее почти не заметили, как, впрочем, в России — русский текст. А драгоценная рукопись перевода, выполненного Кузминым, погибла в Мюнхене во время бомбардировки города в 1944 г. <...>

Самым удивительным было знакомство с Хлебниковым.

Виктор Владимирович Хлебников изменил позднее свое имя на Велемир (Вели Миру)! Как-то раз в июле Иванов получил письмо от незнакомого молодого человека, который спрашивал, может ли он навестить его. И однажды вечером он явился. Очень стройный, довольно крупный, белокурые волосы расчесаны на пробор; высокий могучий лоб, а под ним — пустые, прозрачно-голубые глаза чудака-сумасброда. Первое впечатление — бесцветное, ибо маленький рот с бледными, девственными губами почти ничего не произносил. Оказалось, что он студент, изучает естествознание и пишет стихи. Его попросили почитать. Он достал из кармана какие-то смятые листки и стал тихо читать — он вообще говорил очень тихо и сильно запинался; но то, что он прочел, настолько отличалось от символистской поэзии, что мы изумленно посмотрели друг на друга. Мы — это Вячеслав и Кузмин, пригласившие меня послушать. Не символы, но и не социалистические проповеди. Здесь были птицы, которым он сам давал видовые названия, были невероятные образы, но прежде всего интенсивные упражнения над языком, казавшиеся поначалу весьма произвольными, — своего рода игра, чтобы докопаться до корней слов. Сдержанная замкнутость Хлебникова вызывала порой тревожное чувство: этот молодой человек казался иногда не вполне нормальным. Мысль о том, что перед нами природный гений, не приходила нам в голову во время этой первой встречи. Еще лишь раз в жизни довелось мне позднее встретить такой же, подчас отсутствующий взгляд: у одного гениального математика и одновременно гениального композитора грегорианского склада.

Стихи Хлебникова нам не очень понравились, но они были настолько своеобразны, что Вячеслав, прирожденный любитель возводить новичков на трон, сразу заерзал и попытался вовлечь молодого человека, который был лишь немногим старше меня, в пространные рассуждения о просодии. Мы же едва успевали следить за теориями Хлебникова, за его экскурсами в глубь языка и дерзкими корневыми конструкциями. Из корня одного существительного он умудрялся логически вывести до десяти новых прилагательных и десять новых глаголов; я до сих пор помню одно стихотворение: он столь часто и на удивленье рискованно обыгрывал в нем существительное «смех», что мы просто растерялись. Конечно, чувствовалось, что он не прошел никакой поэтической школы, и Иванов, опытный ревнитель муз, стал внушать Хлебникову, что ему следует еще много и систематически заниматься вопросами поэтической формы. Однако молодого человека это совсем не интересовало; его страстная, возможно, магическая одержимость была обращена лишь на слово как таковое.

За его запинающейся немотой скрывалась нестигаемая воля, не позволявшая ему сойти с избранного им пути. Когда уже поздно ночью Хлебников ушел, нам стало ясно, что мы встретились с весьма незаурядным человеком, чей путь будет не из легких. Похоже, он мечтал о каком-то литературном будущем, да и у нас сложилось о нем впечатление как об умном и образованном человеке. В остальном же он был скромненький, немного застенчив, легко смущался и краснел, словно девушка, но был приветлив и хорошо воспитан.

Вечера в башне Иванова нередко сравнивают с собраниями у Стефана Малларме, но я почти уверен, что они были значительнее. <...>

Среди многих необычайных людей, с которыми я встречался у Иванова, хочу назвать еще двух; они оба питали еще бродивший во мне микроб театрального честолюбия.

Лев Самойлович Бакст, которому было тогда уже более сорока лет, может считаться, я думаю, наиболее талантливым художником и графиком России. Его особенно привлекал к себе театр. Сегодня он малоизвестен, но не следует забывать мнение такого человека, как Рудольф Борхардт³⁵, который однажды сказал, что каждая линия, проведенная Бакстом, достойна восхищения.

Это был невысокого роста, плотный, светловолосый и при всем своем кажущемся спокойствии очень подвижный человек, чрезвычайно восприимчивый и едкий; быстрая речь его сопровождалась резкими энергичными

движениями его маленьких пухлых рук; одевался он небрежно, с легким намеком на элегантность. Бакст был занимательнейшим собеседником; он знал все на свете и обладал неистощимым запасом беззлобных, хотя и насмешливых историй, которые он всегда держал наготове.

Тогда он обхаживал одну неестественно худую, наивно дерзкую и очень богатую молодую девушку, мечтавшую стать новой Дузе. Ида Рубинштейн происходила, если не ошибаюсь, из семьи петербургских банкиров. К ее начинаниям привлечены были все известные современные драматурги: еще очень юная и чрезвычайно самоуверенная дама хотела получить сенсационную пьесу какого-нибудь гениального драматурга, написанную только для нее, и, поручив оформление Баксту, поставить ее на свои средства в Париже³⁶.

Не знаю точно, с кем именно уже велись переговоры, но, кажется, никого не нашли. Позднее Гофмансталь намекал мне, что Дягилев обращался к нему по этому поводу из Парижа, но — безуспешно. Название моей пьесы заинтересовало Бакста: «Очаровательная змея» — тут можно было бы развернуть. Однако сама пьеса понравилась ему столь же мало, сколь ее автор — серафически надменному чуду, принявшему девический облик. На этом все дело и провалилось. Добрейший Бакст пытался меня утешить. А Ида Рубинштейн нашла себе потом драматурга в лице Габриэле Д'Аннунцио, который, как ловкий профессионал, сочинил именно то, что требовалось — «Мистерию о мученичестве святого Себастьяна»³⁷. Главная роль особенно подходила для нее еще и потому, что, как утверждают, во время спектакля при всем желании невозможно было распознать, какого пола госпожа Рубинштейн. Когда я спросил об этом Бакста, он лишь многозначительно подмигнул мне: у Моисеева золотого тельца, мол, тоже не разберешь, какой он там из себя.

С великим режиссером Всеволодом Мейерхольдом я познакомился, к сожалению, лишь в самом конце своего пребывания в Петербурге. К этому времени он уже оставил театр Веры Комиссаржевской и основал свою собственную труппу, с которой и разъезжал по России. Когда в один прекрасный июльский день он появился у нас, речь шла сначала о классической и, по моему, непригодной для сцены драмы Вячеслава «Тантал»³⁸, а затем — о маленьких вещах Кузмина. Мейерхольд поинтересовался, как обстоят дела с моей пьесой и отдал ли я ее Комиссаржевской. Я ответил, что нет, поскольку имел тогда в виду передать ее Станиславскому в Московский Художественный театр. Мейерхольд попросил меня прочитать ему пьесу. Я дал ему перевод Кузмина, и он вернул мне его через несколько дней с восторженными до неестественности похвалами. Однако позднее, когда наше знакомство почти переросло в дружбу, он никогда больше не возвращался к этому вопросу.

Мейерхольд был высокого роста и очень стройный. Зачесанные назад каштановые волнистые волосы открывали высокий и широкий лоб; большие, зеленовато-коричневые скользкие глаза и могучий орлиный нос над постоянно подрагивающим ртом с мясистыми губами; тонкие нервные руки. Он не мог сидеть спокойно на месте, он все время находился в движении; такой же была у него и манера речи: быстрая, без акцентов, подчас прерывистая... Его улыбка не казалась доброй; она была какой-то интригующей и немного презрительной, хотя он и относился к остальным в высшей степени дружелюбно. По какому-то недоразумению он считался вероломным. Впрочем, на людей театра никогда нельзя положиться полностью. Это в порядке вещей.

Он много знал, был очень восприимчив и сильно тяготел к отвлеченности и игре. Каждый разговор и, конечно же, каждую пьесу он умел упростить и свести (не всегда удачно) к одному-единственному моменту. Поэтому я позволял себе сделать здесь то же самое, сказав о Мейерхольде, что он обладал необузданной и пылкой фантазией, но зачастую был лишен ощущения реальности. Он жил — как художник, так и человек — в волшебном мире, созданном из сталактитов творческого своеволия, и стоило их разрушить (а это случалось нередко), как они разрастались еще сильнее. Каждая пьеса, которую

он ставил, видоизменялась им настолько, что в ней уже ничего не оставалось от Гоголя или Лермонтова; это было произведение Мейерхольда и тем не менее—гениально убедительное. При этом он отличался широтой взглядов и ничего не навязывал своим товарищам, возможно, потому, что он, как выражался Георг, их «несколько презирал». Ему следовало бы, собственно, жить в другую эпоху, когда из Ничего создавался сказочный театр, как, например, в Венеции во времена Гюцци. Я никогда не встречал человека, столь богатого выдумкой и искрометными идеями. Главным недостатком Мейерхольда было его упрямое своеволие: он раздражался и приходил в ярость, вместо того чтобы, стиснув зубы, молча делать свое дело.

Не прошло и получаса, как мы уже углубились с ним в критический разбор мировой драматургии. Я смог все же сообщить этому необычайно начитанному человеку ряд неизвестных ему авторов и произведений. Он все это записал с трогательной добросовестностью, но не прочитал ни одной из названных мной вещей, не говоря уже о их постановке.

И, может быть, поступил правильно. Я находился тогда под влиянием романтиков, Тика³⁹, Брентано⁴⁰ и Арнима⁴¹, но рекомендовал ему более пригодные для сцены произведения Ленца⁴², Клингера⁴³ и Иммермана⁴⁴, самого мужественного, на мой взгляд, из немецких поэтов. Он последовал только одному из моих советов, поставив впоследствии «Маскарад» Лермонтова; для этой знаменитой постановки он избрал, однако, не сокращенный, а другой—первый и, по-моему, менее доступный для понимания вариант драмы: здесь бурно могла проявиться вся преизбыточность его увлекающейся восточной души. Произведение драматурга было для Мейерхольда лишь малозначительным поводом для того, чтобы раскрыть перед зрителем, как ослепительный павлиний хвост, все великолепие своего театрального мастерства.

Иванов и Кузмин только диву давались—насколько глубоко мы сошлись друг с другом. «Это мой человек»,—повторял Мейерхольд. Кузмин, неплохой психолог, добавлял, улыбаясь: «Чтобы не утруждать себя чтением пьес, которые рекомендует Гюнтер». Добродушный смех всех троих. Ну и что?

В последующие годы я часто встречался с Мейерхольдом и не раз имел возможность помогать ему в практических делах. Я провел с ним много незабываемых часов, самые прекрасные, пожалуй, на Рижском взморье, в июле 1913 г. Мы сидели с ним летней ночью на пляже, залитом белым лунным светом, под высокой дюной, слушали мерный шум моря и создавали новый театр во всех его деталях, что призван был перевернуть мир. Нам не хватало лишь миллионов, которые для этого требовались. <...>

Мейерхольд много говорил о Блоке; его «Балаганчик» он поставил вместе с пьесой Метерлинка в январе в театре Комиссаржевской. Был огромный скандальный успех, из которого Мейерхольд извлек немалую выгоду. Многие утверждали, что это его лучшая постановка. Сам он великолепно сыграл роль Пьеро.

Один из первых визитов я нанес Блокам. Они занимали теперь новую, более просторную квартиру, состоявшую из четырех комнат и длинного коридора. В последней из них, довольно большой, помещался кабинет поэта.

Увидев меня, Блок просиял. Он был один. Любовь Дмитриевна находилась на гастролях: она вступила в труппу, собранную Мейерхольдом, которого очень ценила. Однако Блок ожидал ее возвращения в ближайшие дни⁴⁵. Под его глазами лежали темные тени—свидетельство не безупречно проведенного одиночества; у глаз появились первые морщины; мне уже успели рассказать, что он развлекается и слишком много пьет.

Он радостно сообщил мне о своей новой, большой драме, уверял, что она мне очень понравится; рассказывая о ней, он принес свою книгу «Лирические драмы», только что выпущенную издательством «Шиповник», и сделал на ней проникновенную надпись. Блок сказал, что я появился вовремя: он немного скучает и радуется, что скоро вернется Люба. Конечно, добавил он, незачем

идти на сцену, не обладая исключительным актерским дарованием, а у Любы оно как раз весьма скромное, но все же удерживать ее он не стал, ведь она так мечтала о сцене... Чувствовалось, что тяготение его жены к театру не вполне устраивает Блока.

В душе я был согласен с Блоком, но не зная, что ему сказать, уклонился от ответа и сообщил, что я тоже написал свою первую большую драму. Однако мои слова, казалось, были ему глубоко безразличны.

Зато он радовался тому, что я включил переводы его стихотворений в сборник «Зарубежная лирика»⁴⁶ и тем самым представил его немецкому читателю. Он сказал, что любит Германию. Чувствовалось, что он сильнее, чем прежде, ощущает себя писателем. Или это было тщеславие?

Нечто подобное, вероятно, все же имело место, ибо Блок уже второй год писал статьи и рецензии для роскошного «Золотого руна», которое издавал миллионер и сноб Рябушинский, весьма неприятный человек. Сперва Блок писал их немного, а затем все больше и больше — видно, ему нужны были деньги. Его критические статьи были слабыми, односторонними и крайне невыразительными, но он исполнял свои обязанности критика не без гордости, хотя, конечно, понимал, что это не его дело. Впрочем, за минувшие годы Блок и его жена получили не одно крупное наследство, доставшееся им от состоятельных родственников. Но, и располагая деньгами, они жили скромно.

В этот день я оставался у него долго. Он вновь и вновь рассказывал мне о своей жене — раньше он никогда не делился со мной столь личными переживаниями. А может, он просто нуждался в собеседнике?

Он говорил, что радуется возвращению Любы и что ему очень ее не хватало: он постоянно без нее тосковал и по несколько раз на дню заходил в ее комнату, чтобы хоть таким образом побыть с ней. Из нескольких случайных слов — он обронил их в сильном смущении — могло сложиться впечатление, будто из них двоих он любит глубже, хотя это вовсе не совпадало с тем, что уже тогда говорила о нем молва (и продолжала говорить впоследствии). Было что-то трогательное в его пылкой нежности — он относился так только к Любе! — но я все же думаю, что он никогда не мог отдаться этому чувству до конца. Где-то давал себя знать тот знаменитый «земной остаток», о котором говорит Гете. Но и это могло быть у него притворством. Блок вообще любил немного играть — перед самим собой. То Пьеро, то Гамлет, а позднее даже — Жорж Дандэн⁴⁷. Не это ли и оттолкнуло от него в свое время Андрея Белого?

Тем не менее я, как и раньше, убежден, что Блок и Люба были созданы друг для друга. В то время я часто встречался с Блоком — и до, и после возвращения Любы, которой, как мне показалось, театр не принес большого удовлетворения, — и могу сказать, что редко видел двух столь пламенно влюбленных друг в друга людей. Это звучало также и в словах, которые написал мне Блок на своей книге — то были стихи влюбленного. <...>

Свою пьесу, о которой он говорил мне, Блок читал затем — еще до возвращения Любы — в квартире своего друга Георгия Чулкова, где собралось около тридцати человек. Я тоже был в числе приглашенных⁴⁸. <...>

Блок читал от восьми часов вечера до полуночи (с коротким перерывом), но уже скоро стало понятно, что его пьеса никому не нравится.

По причинам, которые так полностью и не выяснены, Блок сблизился тогда с Леонидом Андреевым — драматургом из социалистической группы Горького⁴⁹. Андреев тоже присутствовал на этом вечере. Однако он воспринимался как инородное тело и, сам это чувствуя, держался подчеркнуто любезно. Он был в то время самым популярным (может быть, наряду с Горьким) драматургом России.

И тем не менее мы были тогда, насколько помню, не слишком высокого мнения о его таланте. Ухоженная бородка, зачесанные назад черные волосы, тонкое одухотворенное лицо трагического актера, невозмутимый вид, темная одежда — все это делало его очень привлекательным, пожалуй, даже чересчур

привлекательным. Его небрежно написанная аллегорическая пьеса «Жизнь человека» ставилась тогда на всех русских сценах с огромным, почти сенсационным успехом; поэтому он и казался Блоку наиболее достойным восприемником для его романтически-символической «Песни Судьбы». Во всяком случае, все заметили, что его резкий отзыв Блок воспринял болезненно⁵⁰.

В слегка утрированный финал своей драмы Блок ввел несколько строк из прелестной, выдержанной в народном духе «Песни корабельника» Некрасова, что, разумеется, выпадало из общего стиля. Все слушатели, в особенности Андреев, осудили Блока за столь неожиданную вставку, тогда как сам поэт очень гордился именно этим местом. Начался возбужденный спор. Кузмин и я решительно высказались за сохранение этих строк; однако убедить высокопросвещенное собрание нам не удалось. Еще немного — и нас просто-напросто высмеяли бы. Выступал, если не ошибаюсь, Аким Волинский, надменный божок тогдашней критики; он сказал, имея в виду меня с Кузминым, что одобрение «молодых декадентов» яснее всего свидетельствует о том, насколько грубую ошибку допустил Блок⁵¹.

Блок был подавлен. Но уже через день мы с ним вволю поиздевались над бородатыми судьями.

Сразу же после этого Блок попытался завязать отношения со Станиславским, который ежегодно, в одно и то же время, приезжал в Петербург вместе со своим Художественным театром. Блок прочитал ему «Песню Судьбы», и Станиславский, по своему обыкновению, принялся давать ему — то сдержанно, то расточая восторженную похвалу — разные обещания, которые спустя несколько месяцев, а иногда даже и лет превращались у него в решительный отказ. Этой попытке Станиславский подверг бедного Блока дважды. Во второй раз — в связи с постановкой блоковской драмы «Роза и крест» — мучения продолжались несколько лет⁵². Это говорит о том, что Блок обладал завидной выносливостью: терпеть нелепые причуды так долго — нелегкое дело; но, с другой стороны, это показывает, что Художественный театр Станиславского считался тогда в России высшей инстанцией.

К моей пьесе Блок отнесся с полным равнодушием, но именно он помог мне познакомиться со Станиславским⁵³. Встреча состоялась в гостинице «Европейская», где Станиславский занимал княжеские покои.

Московский фабрикант Константин Сергеевич Алексеев, избравший себе в качестве режиссера, актера и театрального деятеля фамилию Станиславский, представлял собой впечатляющее зрелище. Высокий и стройный, подчеркнуто джентльменские манеры, элегантная проседь, крупный английский череп. Ему было тогда приблизительно сорок пять лет. Он выглядел замечательно — и знал это! Станиславский милостиво принял меня в гостиную и благосклонно выслушал. Когда я попросил его дать главную роль — разумеется, при положительном решении — моей рижской приятельнице, он ответил страдальчески снисходительной усмешкой. Мол, какой только вздор не услышишь от молодых поэтов! И к чему тогда его собственные великолепные артистки?! А они, действительно, были великолепны!

Тема моей «Очаровательной змеи» его заинтересовала, заглавие же совсем не понравилось (и, конечно, с полным основанием). То, что мою пьесу перевел Кузмин, пришлось ему по вкусу: он полистал рукопись, прочитал отрывок из картины «Рококо», затем — из заключительной картины и наткнулся при этом на русскую цыганскую песню — ту самую, что брэнчала на роле Рената еще до первой моей поездки в Петербург в 1906 г. Он стал вполголоса напевать мотив и тут же обратился к Блоку: «Вот вы, молодые поэты, вечно заимствуете у народа. Почему же вы прямо не пишете по-народному?» Он снисходительно усмехнулся: «Потому что не умеете». <...>

В общем, пьеса моя ему не понравилась, да и со мной его отношения не затянулись, и уже через две недели я знал, что с этой моей мечтой покончено. <...>

Стоял чудесный июль. Уже отзвучали белые ночи, и восточный ветер с Невы смягчал жару. Кузмин показывал мне Петербург — он любил этот город нежной любовью.

Он ездил со мной на острова, чтобы показать мне дивный парк, который жители Петербурга разбили в широком устье Невы. Он водил меня в Эрмитаж — уникальное собрание живописи и драгоценностей, бесспорно, одно из самых богатых в мире. Он показывал мне церкви, на которые я сам не обратил бы внимания, Казанский и Исаакиевский соборы, и он научил меня понимать строгую красоту Невского проспекта. Благодаря Кузмину я получил первое глубокое впечатление от другой, я бы сказал, святой России. Незабываемой России! <...>

Наступил август.

Вячеслав Иванов уехал со своей дочерью Верой в Крым⁵⁴, чтобы несколько месяцев пожить спокойной жизнью; Кузмин же собрался навестить своих родственников в Ярославле. Он был очень расстроен; ему привиделось, что он сломал ногу — так и случилось⁵⁵. При всей своей простоте Кузмин отличался тонкой чувствительностью, если не ясновидением.

Мне тоже надо было возвращаться домой, и каждый раз, когда я об этом думал, у меня щемило сердце: за четырнадцать недель в Петербурге, где мне было так хорошо, в Митаве — там хранилась вся корреспонденция — могло скопиться чудовищное множество дел.

Мария Михайловна Замятнина, домоправительница Вячеслава Иванова, умная и решительная женщина, предложила мне деньги и очень удивилась, узнав, что они мне не нужны. «Вы не русский человек», — сказала она, покачивая головой. У меня, действительно, еще кое-что оставалось — я смог даже подарить ей цветы.

Трогательным было мое прощание со швейцаром Павлом; за это время мы с ним успели сдружиться. Он почтительно обнял меня. «Возвращайтесь, господин юнкер, возвращайтесь скорее. В этом доме вас будут ждать». Он не мог выговорить мое имя и потому называл меня просто «юнкером».

Для спального вагона денег у меня уже не хватило; впрочем, я все равно провел бы бессонную ночь. Я весь был переполнен счастьем тех удивительных дней, что выпали мне на долю...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ До осени 1906 г. Блок с женой жил в казенной квартире Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттук находившейся в казармах лейб-гвардии Гренадерского полка на Петербургской набережной Большой Невки (ныне — Петроградская набережная, 44).

² Мария Андреевна Бекетова (1862—1938) — тетка Блока; писательница и переводчица. Автор книг: «Александр Блок. Биографический очерк» (1922) и «Ал. Блок и его мать» (1925).

³ Под таким названием («Die schlanken Flammen») Понтер предполагал издать в 1905 г. книгу своих стихотворений.

⁴ Погосом Кузмин именует Понтера в дневниковых записях 1911—1912 гг. (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 55, л. 137, 335, 429, 500 и др.). В более ранних записях 1908—1909 гг. Понтер всюду назван у Кузмина своим подлинным именем.

⁵ Понтер имеет в виду стихотворение «Странники» («Давно обветренные лица...»), написанное в 1911 г.

⁶ Имеется в виду Евгений Павлович Иванов (Женя), один из ближайших друзей поэта. Понтер путает его с поэтом Леонидом Семеновым, который в те годы также общался с Блоком. В книге «Александр Блок» (1948 г.), перечисляя друзей Блока, приглашенных в тот вечер, Понтер называет Евгения Иванова, Пяста, Панченко и Городецкого (J. von Guenther. Alexander Block, S. 10).

⁷ Семен Викторович Панченко (1867—1937) — композитор, знакомый семьи Бекетовых; оказывал известное влияние на молодого Блока в духе народнических и социалистических идей.

⁸ Блок действительно был дальним родственником В. С. Соловьева по материнской линии: О. М. Коваленская, двоюродная сестра матери Блока, вышла замуж за М. С. Соловьева, брата философа.

⁹ Имеется в виду московский меценат Н. П. Рябушинский, издатель журнала «Золотое руно» (1906—1909).

¹⁰ Гуго фон Гофмансталь (1874—1929) — известный австрийский писатель, поэт, драматург, один из наиболее видных представителей символизма в немецкой литературе.

¹¹ Видимо, одно из стихотворений, вошедших в сборники «Ярь» и «Перун». Во втором расширенном издании этих книг Городецкий указывал: «Посвящены стихотворения: Перун-Солнце — К. Бальмонту, Хаос — Вяч. Иванову, Заря — А. Блоку, Я захотел, и мир сияет — Ф. Сологубу, Славят Ярилу — Н. Рериху и другие — другим» (С. Городецкий. Собрание стихов, т. 1. СПб., 1910, с. 4).

¹² Стихотворение «Незнакомка» датируется 24 апреля 1906 г. В книге 1948 г., рассказывая о чтении Блоком этого стихотворения на «башне» В. Иванова, Понтер добавляет, что оно имело «неописуемый успех» (S. 12).

¹³ Описанная здесь встреча с Брюсовым состоялась, скорее всего, 10 апреля 1906 г. — именно это число стоит под дарственной надписью, сделанной Понтером на его книге «Тень и ясность». Текст надписи:

«Но и нас ведь должен с палубы
Видеть кто-нибудь,
Чье желанье сознавало бы
Этот вольный путь!»

Знающему от предугадывающего. Мастеру от ученика. Валерию Яковлевичу Брюсову Ганс Понтер. Москва, 10.IV.06» (ГБЛ, ф. 386, Книги, № 1585; процитированы четыре последние строки брюсовского стихотворения «Облака» из сб. «Urbi et orbi»). Часть надписи — на немецком языке).

Позднее, в мае 1911 г., посылая Брюсову в подарок трагедию Шиллера «Орлеанская дева» (во французском переводе Каролины Павловой), Понтер сделал на этой книге следующую надпись (по-немецки): «Валерию Яковлевичу Брюсову — краткое воспоминание о нескольких часах 1906 года» (ГБЛ, Ф. 386, Книги, № 1586).

¹⁴ Георг Бонди (1865—1935) — берлинский издатель, печатавший книги Стефана Георге и писателей его круга.

¹⁵ Иоганн Генрих Фосс (1751—1826) — немецкий поэт и переводчик, один из наиболее видных представителей «Бури и натиска».

¹⁶ Фридрих Леопольд фон Штольберг (1750—1819) — немецкий поэт и переводчик, прославившийся своими одами и гимнами.

¹⁷ Людвиг Кристоф Генрих Хельм (1748—1776) — немецкий поэт, один из наиболее тонких немецких лириков XVIII в.

¹⁸ Имеется в виду стихотворение «Все забыл», впервые напечатанное в альманахе «Корабли» (М., 1907, с. 107) и затем включенное в сб. «Пепел» с посвящением — «Г. Понтеру».

¹⁹ Речь идет об известном портрете Блока, написанном Т. Н. Гиппиус в 1906 г.

²⁰ Понтер вернулся в Митаву 26 апреля 1906 г.

²¹ Понтер рассказывает здесь о своей поездке в Петербург в декабре 1906 г. В апреле 1907 г. Понтер пишет Блоку из Митавы о стихотворении «Двойник» («Вот моя песня — тебе, Коломба...»): «Ведь оно поразительно до повторения совпадает с моими словами, сказанными в декабре 906 у Вас» см. наст. кн., с. 301.

²² В сентябре 1906 г. Блок впервые стал жить отдельно от матери, снимая небольшую квартиру на Петербургской стороне (Лактинская 3, кв. 44); год спустя он переехал на Галерную (ныне Красную) улицу.

²³ Имеются в виду драмы «Король на площади» и «Незнакомка»; вместе с «Балаганчиком» эти пьесы составили «Лирические драмы», изданные в 1907 г. отдельной книгой.

²⁴ Премьера «Балаганчика» состоялась 30 декабря 1906 г.

²⁵ Имеется в виду неопубликованная пьеса Понтера «Очаровательная змея, или Удивительная игра любви». См. подробнее примеч. 34.

²⁶ Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал, жена Иванова, умерла 17 октября 1907 г.

²⁷ Мария Михайловна Замятникова (1865—1919) — домоправительница в доме В. И. Иванова и воспитательница его детей.

²⁸ Графический портрет Блока был выполнен Сомовым в 1907 г.; портрет Сологуба относится к 1910 г.

²⁹ В действительности Волошин в то время уже готовился к отъезду в Париж из Петербурга, где жил безвыездно с января по начало мая 1908 г. См.: Хронологическая канва жизни и творчества М. А. Волошина (составлена В. П. Купченко). — В кн.: М. Волошин. Лики творчества. Л., 1988, с. 785—786.

³⁰ Анри Франсуа Жозеф де Ренье (1864—1936) — известный французский писатель, близкий как к символизму, так и к «парнасской» традиции. Творчество Анри де Ренье пользовалось успехом в России, особенно в символистских и околосимволистских кругах. Одним из наиболее горячих поклонников Ренье был Волошин, переводивший его стихи и прозу, автор статей о нем.

³¹ Поль Луи Шарль Клодель (1868—1955) — французский писатель и драматург; в течение ряда лет находился на дипломатической службе. Волошин увлекался творчеством Клоделя и в конце 1908 г. написал о нем большую статью.

³² По-видимому, Понтер имеет в виду две книги Кузмина, изданные в 1907 г. небольшим тиражом и оформленные К. Сомовым: «Три пьесы» и «Приключения Эме Лебефа».

³³ Куранты любви. Слова и музыка М. Кузмина. Рисунки Н. Судейкина и Н. Феофилактова. М., 1911.

³⁴ Это место в воспоминаниях Понтера существенно уточняется письменным отзывом В. Иванова, хранящимся в Литературном архиве при Национальном музее Шиллера в г. Марбахе (ФРГ). Отзыв представляет собой автограф В. Иванова, подписанный также

М. Кузминым и датированный 13 мая 1908 г. (сообщено американским исследователем М. Вахтелем, которому выражается искренняя благодарность).

«При оценке пьесы Ганса Ф. Понтера „Die reizende Schlange oder das wunderbare Spiel der Liebe“*, — сказано в этой «внутренней рецензии» В. Иванова и Кузмина, — мы не должны исходить из представления, что перед нами „драма“ в собственном смысле этого слова: ее законам произведение во многих отношениях не удовлетворяет; но автор и не ставил своей задачей создать „драму“. Он искал, напротив, иных форм для осуществления своего замысла и дал сценическое произведение *sui generis***. Это — фантастически сплетенный ряд картин, сплоченных в драматическое единство не только одно последовательно развивающегося в них идеи, но и одним *действием*, которое, обрываясь между главными действующими лицами в одной обстановке, продолжается в другой между теми же лицами под новыми их масками и как бы в новом их перевоплощении, — пока в конце пьесы мы не встречаем старых знакомцев расколдованными и принявшими прежний облик.

Причудливая и пестрая феерия образов и положений слагается таким образом в одно стройное целое; и как внешнее действие, так и внутреннее символическое развитие основной идеи выявляется в своеобразной смене превращений с полной ясностью.

Пьеса задумана в формальном отношении неожиданно и остроумно, написана красиво и изобилует счастливо найденными и отчасти неиспользованными сценическими эффектами. Она кажется чрезвычайно „театральной“ и, поставленная со вкусом, может произвести эффект блестящего зрелища. В ней нет фабулы, достаточно энергической для драмы; она — психологический этюд по содержанию и наполовину аллегория по форме; но она полна движения и сценической жизни; и ее идея (тоска по любви „совершенной“ и безусловной, какой не знают современные, несущие в себе пустыню и внутренний раскол люди, — к какой неспособны современные, нецельные характеры) воплощена в благодарной для исполнительницы роли Лилли — Лилит с истинною драматической силой».

³⁵ Рудольф Борхардт (1877—1945) — немецкий поэт, драматург, переводчик, филолог; друг Г. фон Гофманстала.

³⁶ Ида Львовна Рубинштейн (1885—1960) — известная драматическая актриса и танцовщица; организовала в Париже собственную труппу. Ее портреты писали В. Серов и — позднее — Л. Бакст.

³⁷ Спектакль «Мучение святого Себастьяна» по пьесе известного итальянского писателя Габриэле Д'Аннунцио (1863—1938) был впервые поставлен в парижском театре «Гранд-Опера» в мае 1911 г. Музыка для него написал Дебюсси, декорации и костюмы — Бакст, хореографом был Фокин. В роли Себастьяна выступала Ида Рубинштейн.

³⁸ Трагедия В. Иванова «Гантал» была написана в 1903—1904 гг. как первая часть задуманной им (и неосуществленной) драматической трилогии; опубликована в альманахе «Северные цветы» (1905).

³⁹ Людвиг Тик (1773—1853) — известный немецкий писатель, один из участников йенского кружка романтиков; автор сатирических сказок в духе комедий Гоцци.

⁴⁰ Клеменс Брентано (1778—1842) — немецкий писатель, крупнейший представитель гейдельбергского романтизма.

⁴¹ Людвиг Иоахим Арним (1781—1831) — немецкий писатель; наряду с К. Брентано — крупнейший представитель гейдельбергского кружка романтиков.

⁴² Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751—1792) — немецкий писатель, один из драматургов и теоретиков литературного движения «Буря и натиск».

⁴³ Фридрих Максимилиан Клингер (1752—1831) — немецкий писатель, видный представитель движения «Буря и натиск», получившего свое наименование от его одноименной драмы.

⁴⁴ Карл Лебрехт Иммерман (1796—1840) — немецкий писатель и драматург, известный прежде всего своими социально-сатирическими романами.

⁴⁵ С 15 февраля по 7 мая 1908 г. Л. Д. Блок участвовала в гастрольной поездке по провинциальным городам (Витебск, Минск, Смоленск, Николаев, Херсон, Одесса и Киев). Труппа была собрана В. С. Мейерхольдом в декабре 1907 г. после того, как он покинул театр В. Ф. Комиссаржевской. С 7 по 18 мая Л. Д. Блок находилась в Петербурге.

⁴⁶ Имеется в виду сб. «Новейшая зарубежная лирика», изданный в 1907 г. в Лейпциге Гансом Бетге.

⁴⁷ Главный персонаж известной комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668).

⁴⁸ Описанное Понтером чтение у Г. Чулкова состоялось 4 мая 1908 г.

⁴⁹ Имеется в виду группа писателей, объединившихся в начале 900-х годов вокруг издательства «Знание».

⁵⁰ Свидетельство Понтера о том, что отзыв Андреева Блок воспринял «болезненно», представляется правдоподобным: в 1905—1908 гг. Блок высоко оценивал творчество Андреева, личное общение писателей становилось в те годы все более тесным. Влияние Андреева сказалось и на драматургии Блока, который сам признавал, что из его «Песни Судьбы» «торчит» «...» «леонид-андреевское» (дневниковая запись от 1 декабря 1912 г. — VII, 188).

Сохранилась, кроме того, помета в «Записной книжке» Блока, относящаяся к маю 1908 г.: «Брань Андреева» (ЗК, 107).

* «Очаровательная змея, или Удивительная игра любви» (нем.)

** Своеобразное, необычное (лат.)

⁵¹ Аким Львович *Волинский* (наст. фамилия Флексер; 1863—1926)—известный русский литературный критик и искусствовед.

⁵² Драма «Роза и Крест», законченная Блоком в январе 1913 г., предполагалась к постановке в Московском Художественном театре. 27 апреля 1913 г. Блок читал свою пьесу К. С. Станиславскому, которому она показалась малосценичной. В 1916 г. (и позднее, в 1918 г.) Художественный театр, готовясь к постановке этой пьесы, не раз начинал репетиции. Однако постановка не была осуществлена.

⁵³ Сохранилось письмо Блока к К. С. Станиславскому от 13 мая 1908 г., в котором поэт рекомендует «молодого немецкого поэта Ганса Понтера» (Музей МХАТ, К. С. № 7309):

⁵⁴ В. И. Иванов уехал в Крым со своей падчерицей Верой Шварсалон, дочерью Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака, 29 июня 1908 г. Ср. запись в дневнике Кузмина за этот день: «Утром провожали Вячеслава» (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 53, л. 218 об.).

⁵⁵ Ср. запись разговора Понтера с Кузминым в дневнике последнего; запись сделана 29 июня 1908 г. в связи с предстоящим Кузмину и Понтеру отъездом из Петербурга:

«Обедали. Я сказал: „Понтер, я уйду, не ходите за мною, через полчаса я скажу Вам решение“. „Аббат, не делайте этого, мне страшно“.— Ждите меня.— Просидев полчаса и обдумав, я вошел, молча запер дверь на ключ и сказал: „Не говорите, возьмите перо и бумагу. Пишите. Все это верно. Вы поедете одни, если Вам я буду нужен, я приеду, только бы не сломал себе ногу, в Митаве оставайтесь очень недолго, спешите к сестре <...> 13 поезжайте в Митаву, раньше 17-го мне не телеграфир<уйте>. Каждый день в 3 ч<аса> мин<уты> 3—5 думайте об одном и том же предмете очень простом, напр<имер> цветке. Если это — цветок, носите его. Я Вам дам вещь, не имеющую особой ценности, но всегда имейте ее с собою. Встаньте; не касайтесь меня и не противьтесь“. Я поцеловал ему лоб, глаза, уши, руки, ноги и сердце. Потом говорили, любовно и нежно, беспрестанно и долго целуясь, изливаясь, кланаясь. Потом он стал просить меня остаться до завтра, чтоб я его не покидал. Приезд зятя за мною увеличил его беспокойство. Опять умолял, заклинал, рыдал. Я ушел» (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 53, л. 219—219 об.; Аббат — одно из прозвищ Кузмина). «На башне» Вячеслава Иванова. Ср.: «За его <Кузмина> изящество и любезную вкрадчивость католического аббата XVIII в<ека>, за его увлечение старинной, западной церковною музыкой <...>—его прозвали l'abbé de la tour» (т.е. «аббатом башни»). (Вячеслав И в а н о в. Собрание сочинений. Т. 2. Брюссель, 1974, с. 734; примечания О. Дешарт).

Фрагмент воспоминаний, где речь идет о Хлебникове, написан Понтером по просьбе исследователя творчества Хлебникова А. Е. Парниса.